

Вере

1

А, вот и нужный мне персонаж. Привет, персонаж! Не слышит.

Возможно, если бы будущее существовало, конкретно и индивидуально, как нечто, различимое разумом посильней моего, прошлое не было бы столь соблазнительным: его притязания уравнивались бы притязаниями будущего. Тогда бы любой персонаж мог уверенно утвердиться в середине качающейся доски и разглядывать тот или этот предмет. Пожалуй, было бы весело.

Но будущее лишено подобной реальности (какой обладает изображаемое прошлое или отображаемое настоящее); будущее — это всего лишь фигура речи, призрак мышления.

Привет, персонаж! Что такое? Не надо меня оттаскивать. Не собираюсь я к нему приставать. Ну ладно, ладно. Привет, персонаж... (в последний раз, шепотком).

Когда мы сосредотачиваем внимание на материальном объекте, как бы ни был он расположен, самый акт сосредоточения способен помимо нашей воли окунуть нас в его историю. Новичкам следует научиться скользить над материей, если они желают, чтобы материя оставалась во всякое время точно такой, какой была. Прозрачные вещи, сквозь которые светится прошлое!

Особенно трудно удерживать в фокусе поверхность вещей — рукодельных или природных, — по сути своей недвижимых, но изрядно помыканных ветреной жизнью (вам приходит на ум, и правильно делает, камень на косогоре, над которым за неисчислимые годы, просновало многое множество разных зверюшек): новички, весело напевая, валяются сквозь поверхность и глядишь, уже с детской отрешенностью смакуют кто историю этого камня, а кто вон той вересковой пустоши. Поясняю. Тонкий защитный слой промежуточной реальности раскнут поверх искусственной и естественной материи, и если вам угодно остаться в настоящем, при настоящем, на настоящем, — то уж постарайтесь не прорывать этой напряженной плевы. Иначе неопытный чародей может вдруг обнаружить, что он уже не ступает больше по водам, а стойком утопает в окружении удивленно глазющих рыб. Подробности следом.

В качестве персонажа Хью Персон (испорченное "Петерсон", кое-кем произносимое "Парсон") высвобождал свое нескладное тело из такси, которое доставило его из Трукса на этот дрянной горный курорт, и еще не подняв головы из низенького проема, предназначенного для нарождающихся гномов, поднял глаза, – не для того, чтобы поблагодарить открывшего дверцу шофера за схематически услужливый жест, но желая сравнить облик отеля "Аскот" ("Аскот"!) с восьмилетней давности – пятая часть его жизни – воспоминанием, награвированным горем. Страшноватое это строение из серого камня и бурого дерева щеголяло вишенно-красными ставнями (не сплошь затворенными), которые он по какому-то мнемнооптическому капризу запомнил яблочно-зелеными. По сторонам ступеней стояли на двух железных столбах каретные фонари с электрическими лампочками внутри. Лакей в переднике дробно сбежал по этим ступеням, чтобы принять два чемодана и (подмышку) обувную коробку, проворно извлекаемые водителем из зияющего багажника. Персон расплачивается с проворным водителем.

Неузнаваемый вестибюль был без сомнения так же убог, как и всегда.

Записывая у консьержкиной стойки имя и отдавая паспорт, Персон спрашивал по-французски, английски, немецки и сызнава по-английски, здесь ли еще старый Крониг, распорядитель, чью толстую физиономию и поддельную жовиальность он помнил так ясно.

Консьержка (белокурый шиньон, милая шея) ответила – нет, мсье Крониг оставил их, чтобы занять, представьте себе, посту управляющего отелем "Воображение" в Буре (или так оно прозвучало). В виде иллюстрации или же довода возникла травянисто-зеленая, небесно-голубая открытка с раскорячившимися постояльцами. Подпись на трех языках, и только в немецкой имеется идиома. Английская гласит: "Лежачий Лужок" – и словно назло, мошенница-перспектива расперла лужок до диких размеров.

"Он умер в прошлом году", – сказала девушка (en face[1] совсем не похожая на Арманду), считая последние крохи интереса, какой представлял цветной снимок "Восхождения" в Куре.

"Значит, здесь меня вспомнить некому?"

"Сожалеем", – сказала она с привычной интонацией его покойной жены.

Сожалела она и о том, что поскольку он не может сказать, какую из комнат третьего этажа он занимал, она в свой черед не может его туда поселить, да и этаж к тому же заполнен. Разминая лоб, Персон сказал, что номер комнаты был где-то в середине трехсотых, а выходила она на

восток, солнце встречало его на кровати на коврике, впрочем никакого вида из нее не открывалось. Он очень нуждался в ней, но закон требовал уничтожения записей в случае, если распорядитель, пусть даже и бывший, проделает то, что проделал Крониг (как видно, самоубийство считалось сродни подделке отчетности). Помощник девушки, представительный молодой человек в черном, с угрями на горле и подбородке, проводил Персона в комнату четвертого этажа; во весь путь он с пристальностью телеманьяка ел глазами уплывавшую вниз пустую синеватую стену, а по другую его руку не менее пристальное зеркало лифта на несколько текучих мгновений отразило господина из Массачусетса, его длинное, худое и скорбное лицо с чуть выступающей челюстью и четкой симметричной складкой у рта, которые, пожалуй, и могли бы наделить облик этого господина грубоватой суровостью, свойственной альпинистам, если бы его меланхолическая сутулость не спорила с каждым вершком воображаемого восхождения.

Окно, как и следовало, выходило на восток, но из него-то определенно открывался вид: гигантский кратер, полный землеройных машин (промолчавших субботний вечер и все воскресенье).

Слуга в яблочно-зеленом переднике внес два чемодана и картонную коробку, надписанную по обертке "Подожли", после этого Персон остался один. Он ждал, что отель окажется устаревшим, но этот явно переборщил. Belle chambre au quatrieme[2], хоть и великоватая для одного постояльца (но для нескольких тесная) была решительно неуютна. Номер внизу, в котором он, крупный тридцатидвухлетний мужчина, плакал чаще и горше, чем за все его грустное детство, помнится, тоже был неказист, но хотя бы не так бестолково обставлен, как этот его новый приют. Совершенно кошмарная кровать. "Ванная" с биде (достаточно обширным, чтобы принять присевшего циркового слона), но без ванны. Крышка унитаза отказывалась стоять. Норовистый кран резко прыснул ржавой водицей, потом из него потекла обычная вялая струйка, — которую ты ценил недостаточно, которая есть текучее таинство и заслуживает, да-да, воздвижения в ее честь монументов, — храмов, полных прохлады! Покинув убогую уборную, Персон плотно прикрыл за собою дверь, но та, словно глупый щенок, скульнула и увязалась за ним в комнату. Давайте теперь проиллюстрируем наши трудности.

3

Озираясь в поисках комода, в который он мог бы сложить свои вещи, Хью Персон, человек аккуратный, заметил, что средний ящик пожилого стола, сосланного в темный угол комнаты и обратившегося в подставку для похожей на остов сломанного зонта лампы, лишенной и лампочки и абажура, не был толком задвинут постояльцем либо слугой (на самом деле — ни тем, ни другим), — словом, последним, кто полюбостствовал (никто), так ли он пуст. Мой добрый Хью попытался, расшатав,

впихнуть его внутрь; на-первых ящик не подавался, но затем – в ответ на случайный рывок (невольно усиленный накопленной мощью многих толчков) – выскочил и обронил карандаш. Прежде чем сунуть его назад, Хью скользнул по нему глазами.

То был не восьмиугольный красавец из красного кедра с оттиснутым серебряной амальгамой именем производителя, – а простенький, круглый, совершенно безликий старый карандаш из дешевой сосны, выкрашенной в серовато-сиреневый цвет. Лет десять назад его потерял здесь плотник, который, не закончив осмотра, не говоря уж – починки старенького стола, отправился за инструментом, найти который так и не смог. Ну вот, мы и добрались до акта сосредоточения.

У плотника в мастерской, а задолго до нее в деревенской школе карандаш сносился на две трети первоначальной длины. Оголенная древесина на коническом кончике потемнела, приобрела свинцово-сливовый оттенок, слившись с тупым мыском графита, чей слеповатый лоск один только и отличал его от дерева. Нож и медное точило основательно потрудились над ним; будь в том нужда, мы могли бы проследить путаную участь очисток, в пору свежести лиловых с одной стороны и смугловатых с другой, но теперь ссохшихся в крошево праха, которого широкое – широчайшее – рассредоточение жутко сжимает горло, впрочем, этим следует пренебречь, – привыкаешь, и довольно быстро (выпадают ужасы и похуже). В целом строгать его было одно удовольствие – стародавней выделки вещь. Отступив на множество лет (впрочем, не к году рожденья Шекспира, в котором и был открыт карандашный графит), а затем возвращаясь в "настоящее" и попутно собирая заново историю этой вещицы, мы видим девочек и стариков, перемешивающих с мокрой глиной графит, очень тонко помолотый. Эту массу, эту давленную икру, помещают вовнутрь металлического цилиндра, снабженного синим глазком, – сапфиром с просверленной дыркой, сквозь которую икру и продавливают. Она выползает одним неразрывным и аппетитным шнурком (следите за нашим маленьким другом!), вид у него такой, словно он сохранил форму пищеварительного тракта дождевого червя (но следите, следите, не отвлекайтесь!). Теперь его режут на прутики нужной длины, – нужной как раз для этих карандашей (мы замечаем резчика, старого Илию Борроудэйла, боковым зрением мы чуть не вцепились в его рукав, но осеклись, осеклись и отпрянули, торопясь различить интересующий нас кусочек). Видите, его пропекают, варят в жиру (на этом вот снимке как раз режут шерстистого жирноса, а вот мясник, здесь пастух, здесь отец пастуха, мексиканец) и вставляют в деревянную оболочку.

Теперь, пока мы возимся с древесиной, важно не упустить из виду наш драгоценный кусочек графита. Вот оно, кстати, и дерево! Самая та сосна! Ее валят. В дело идет только ствол, кора обдирается. Мы слышим визг недавно изобретенной мотопилы, видим, как сушат бревна, как их распиливают на доски. Перед нами доска, которая даст оболочку карандашу, найденному в пустом мелковатом ящике (по-прежнему незакрытом). Мы распознаем ее присутствие в бревне, как распознали бревно в дереве и дерево в лесу, и лес в мире, который построил Джек. Мы распознаем это присутствие посредством чего-то для нас совершенно ясного, но безымянного – и описать его невозможно, как не опишешь улыбку человеку, отродясь не выдавшему смеющихся глаз.

Так перед нами в мгновение ока раскрылась целая маленькая драма – от кристаллического углерода и срубленной сосны до этого скромного приспособления, этой прозрачной вещицы. Жаль только, сам карандаш, в его вещественности, недолго помешкавший в пальцах Хью Персона, все еще как-то ускользает от нас! Зато уж Хью-то не ускользнет, будьте уверены.

4

Это его четвертый приезд в Швейцарию. Первый состоялся восемнадцать лет назад, в тот раз он провел несколько дней в Труксе, с отцом. Десять лет спустя, тридцатидвухлетним мужчиной, он вновь посетил этот старый город у озера и, отправившись повидать их гостиницу, благополучно изведаль сентиментальную дрожь – полуизумление, полураскаяние. Муравчатый косогор и старая лестница вели к отелю от озера и от безликой станции, где он сошел с местного поезда. Он помнил название отеля, "Локье", потому что оно походило на девичью фамилию матери, канадской француженки, которую Персону-старшему довелось пережить меньше, чем на год. Он помнил и то, как утл и тускл был этот отель, стоявший униженно рядом с другим, много лучшим, сквозь нижние окна которого различались призраки бледных столов и подводные половые. Теперь обоих уж нет, и на месте их воздвигся "Banque Bleue", стальное строение, – полированные плоскости, сплошные стекла и растения в кадках.

Он спал в несмелом подобьи алькова, отделенном аркой и одежной стойкой от отцовской кровати. Всякая ночь – великанша, но та оказалась в особенности страшна. Дома у Хью была собственная комната, и эта общая могила сна вызывала в нем ненависть, он лишь угрюмо надеялся, что обещание раздельных спален будет сдержано на следующих стоянках их путешествия по Швейцарии, мреющем впереди сквозь разноцветную дымку. Отец, шестидесятилетний, коротковатый и грузный в сравнении с Хью, за недолгое время вдовства неаппетитно состарился; характерный, предвещающий скорое будущее запашок, еле слышный, но безошибочный, исходил от его вещей; во сне он вздыхал и покряхтывал, ему снились громоздкие глыбы мглы, которые приходилось разбирать и отваливать с дороги или карабкаться по ним, поднимаясь на выматывающие выси немощи и отчаяния. Мы не сумели сыскать в истории европейских турне, прописанных семейными докторами отставным старикам в качестве средства для утоления одинокого горя, ни единой поездки, достигшей названной цели.

Руки у Персона старшего и всегда-то были неловкие, но в последнее время его копошенье в вещах, плавающих в купальне пространства, попытки наощупь поймать прозрачное мыло уклончивого вещества, пустые потуги связать или развязать те части рукодельных предметов, которые следует застегивать либо расстегивать, становились определенно

комичными. Хью отчасти унаследовал отцовскую косность и это ее преувеличение раздражало его как повторенье пародии. Утром последнего дня вдовца в так называемой Швейцарии (т.е. перед самым событием, вследствие коего все для него станет "так называемым"), старый неумеха, желая узнать погоду, потянулся с венецианскими жалюзи, едва успел углядеть мокрую мостовую, – жалюзи низвергнулись трескливой лавиной, – и решил прихватить зонт. Зонт оказался неправильно сложен, и он принялся приводить его в порядок. Сначала Хью наблюдал за ним с безмолвной брезгливостью, ноздри его раздувались и дергались. Презрение было ничуть не заслуженным, ибо существует масса вещей – от живых клеток до мертвых светил – переживающих от поры до поры мелкие неприятности в не всегда умелых или осторожных руках безымянных формовщиков. Черные клинья зонта неопратно вывертывались наизнанку, приходилось их укладывать заново и ко времени, когда, наконец, можно было пустить в ход тесемочную петельку (крохотное, едва осязаемое колечко между пальцами, указательным и большим), пуговка ее затерялась в складках и рытвинах пространства. Понаблюдав немного за этой бездарной возней, Хью так резко выдрал зонт из отцовских рук, что старик несколько мгновений еще месил воздух руками, прежде чем ответить на внезапную грубость извиняющейся мягкой улыбкой. Так ни слова и не сказав, Хью свирепо сложил и застегнул зонт, – который, правду сказать, приобрел форму, едва ли лучшую под конец сообщенной отцом.

Чем они собирались занять этот день? Они собирались позавтракать (там, где вчера отобедали), а после пройтись по магазинам и осмотреть достопримечательности. На двери коридорной уборной было красочно намалевано местное чудо природы, водопад Тара, его же воспроизводила огромная фотография на стене вестибюля. Доктор Персон приостановился у стойки портье, чтобы с всегдашней хлопотливостью выяснить, нет ли ему почты (не то чтобы он ее ждал). После недолгих поисков нашлась телеграмма для миссис Парсон, но ничего для него (кроме глухого удара неполного совпадения). Под руку ему подвернулась валявшаяся на стойке свернутая мерная лента, он попытался обернуть ей свою толстоватую талию, раз за разом теряя конец и тем временем объясняя хмурому портье, что намеревается купить в городе летние брюки и желал бы подойти к этому делу со всевозможной ясностью. Хью вся эта чушь допекла окончательно, и он двинулся к выходу, не дожидаясь, когда опять скрутится серая лента.

После завтрака они подыскивали подходящий на вид магазин. Confections. Notre vente triomphale de soldes[3]. Наш паданец продается триумфально, перевел отец, и Хью поправил его с утомленным презрением. Снаружи витрины стояла на железной треноге корзина со сложенными сорочками, незащищенная от пошедшего гуще дождя. Перекатился гром. Давай заскочим сюда, нервно сказал доктор Персон,

чей страх перед грозами являлся для сына еще одним источником раздражения.

В то утро Ирме, измаянной и озабоченной продавщице, пришлось в одиночку управляться в магазине подержанного платья, куда Хью неохотно последовал за отцом. Двух ее сослуживцев, супружескую чету, только что уложили в больницу — после пожара в их квартирке, — хозяин укатил по делам, а людей валило в лавочку больше, чем обычно валит по четвергам. Сейчас она помогала тройке старушек (с лондонского автобуса) выбрать наряд, попутно объясняя еще одному персонажу, белокурой немке в черном, где делают снимки для паспорта. Каждая старушка по очереди расстилала у себя на груди цветистое платье, а доктор Персон старательно переводил их кудахтанье с кокни на убогий французский. Девушка в трауре вернулась за оставленным свертком. Старушки стелили все новые платья, скашиваясь на новые бирки с ценой. Еще вошел покупатель и с ним две девчушки. Доктор Персон успел вставить слово, попросив пару штанов. Ему вручили несколько пар для примерки в соседней комнатке; Хью выскользнул из магазина.

Он брел без цели, держась под прикрытием разных архитектурных выступов, ибо ежедневная газета этого дождливого городка попусту призывала построить в торговой части аркады. Хью осмотрел вещицы на выставке сувенирного магазина. Зеленая фигурка лыжницы показалась ему довольно соблазнительной, хоть он не сумел определить сквозь стекло витрины из чего она сделана (из "алебастрита", т.е. поддельного арагонита, а вырезал ее и раскрасил сидевший в грумбельской тюрьме Армандо Рэйв, педераст, придушивший склонную к кровосмешительству сестру своего друга). Неплох и тот гребешок в кармашке из настоящей кожи, — неплох-то неплох, да только мигом замызгается и придется потом часами выковыривать всякую забившуюся между тесных зубьев с помощью одного из маленьких лезвий вот этого ножичка, ошетилившего в витрине высокомерные внутренности. Симпатичные наручные часики с украшавшим их личико изображением песика — всего за двадцать два франка. Или, может, купить (для соседа по комнате в колледже) то деревянное блюдо с белым крестом посерединке в окружении всех двадцати двух кантонов? Ибо Хью, которому стукнуло двадцать два, всегда томила символика совпадений.

Резкий звон и мигание красного света на переезде сообщили о скором событии: медленно опускался неумолимый шлагбаум.

За коричневой занавеской, лишь наполовину опущенной, виднелись обтянутые чем-то черно-прозрачным элегантною ноги женщины, сидевшей внутри. Ах, как хочется нам изловить это мгновение! Занавешенная будка на панели, внутри подобие рояльного стула для высоких и низких и автомат, позволяющий каждому получить собственный снимок — для паспорта, из спортивного интереса. Хью оглядел ноги, а за ними и вывеску на будке. Мужское окончание и отсутствие знака ударения подпортили ненамеренный каламбур[4]:

Пока он, все еще девственник, воображал эти рискованные позы,

произошло двойное событие: промахнул, гроыхая, безостановочный поезд, и в кабинке сверкнула молния магния. Вышла, закрывая сумочку, блондинка в черном, отнюдь не убитая электричеством. Память о каких бы похоронах ни желала она запечатлеть изображением своей светлой красоты, затянутой по случаю в креп, они ничего не имели общего с третьим событием, одновременно случившимся по соседству.

Надо пойти за ней, вот и выйдет хороший урок, – пойти за ней вместо того, чтобы тащиться неизвестно куда, чтобы там глазеть на водопад: хороший урок старику. Выругавшись и вздохнув, Хью поворотил оглобли, что было когда-то меткой метафорой, и направился к магазину. Впоследствии Ирма рассказывала соседям, как она была уверена в том, что джентльмен ушел вместе с сыном, и как не сразу поняла, о чем последний толкует, несмотря на его беглый французский. Поняв же, она рассмеялась своей несообразительности, проворно свела его к примерочной, и все еще от души веселясь, откинула зеленую, не коричневую, занавеску жестом, ставшим в воспоминании драматическим. Всегда есть что-то смешное в пространственной путанице и беспорядке и мало на свете вещей забавней, чем три пары штанов, в оцепенелом танце сплетенные на полу – коричневые просторные панталоны, синие полотняные штаны и старые брюки из серой фланели. Неловкий Персон – старший с трудом протискивал обутую ногу сквозь зигзаг узкой штанины, когда ощутил, как крошечная краснота с ревом вливается в голову. Он умер, еще не достигнув пола, словно падал с большой высоты, и теперь лежал на спине, вытянув руку. Шляпа и зонт, недостижимые, стили в высоком зеркале.

Названного Генри Эмери Персона, отца нашего персонажа, можно представить достойным, серьезным, симпатичным человечком, а можно жалким прохвостом, – все зависит от угла, под которым падает свет, и от расположения наблюдателя. Как много рук заламывается во тьме раскаяния, в темнице непоправимого!

Школьник, пусть он даже силен, как бостонский душитель, – покажи-ка нам твои лапища, Хью, – конечно не в силах одолеть всех своих однокашников одновременно, когда они разом принимаются отпускать жестокие замечания в адрес его отца. После двух-трех неуклюжих драк с самыми пакостными из них, он занял позицию поумнее и поподлее – молчаливого полусогласия, которое ужасало его, когда он вспоминал то время; впрочем, изумительная изворотливость совести позволяла ему утешаться самым сознанием этого ужаса, как доказательством того, что он все-таки не законченное чудовище. Теперь еще предстояло как-то справиться со множеством воспоминаний о жестоких поступках, в коих он был повинен вплоть до самого этого дня, – избавиться от них оказалось не проще, чем от вставных челюстей и очков, бумажный пакет с которыми вручил ему муниципальный чиновник. Единственный родич,

которого он сумел отыскать, скрантонский дядюшка, прислал ему из-за океана совет не тащить тело домой, а кремировать за границей; на деле же наименее рекомендованный образ действий оказался во многих смыслах наипростейшим – и главным образом потому, что позволил Хью практически сразу избавиться от страшного предмета.

Все были очень участливы. Хотелось бы, в особенности, поблагодарить Хэролда Холла, американского консула в Швейцарии, через посредство которого к нашему бедному другу поступала разнообразная помощь.

Двойственный трепет, испытанный юным Хью, можно подразделить на общий и частный. Первым пришло общее чувство свободы, большой ветер, восхитительный, чистый, сдувший прочь немало жизненного сора. В частности же, он с приятным удивлением обнаружил в потрепанном, но пухлом отцовском бумажнике три тысячи долларов. Подобно многим невнятно одаренным юношам, ощущающим в пачке банкнот осязаемое обилие немедленных наслаждений, он был лишен и практической сметки, и стремлений к дальнейшему обогащению, и томлений по поводу будущих средств к пропитанию (последние оказались ничтожны, ибо выяснилось, что наличность составляет больше десятой доли всего наследства). В тот же день он перебрался в Женеву, в гораздо более пристойное жилье, съел на обед *homard à l'américaine*[5], и вышел в проулок за отелем, чтобы найти первую в своей жизни женщину.

По оптическим и животным причинам половая любовь – вещь не настолько прозрачная, как иные, куда более сложные. Известно, впрочем, что в родном его городе Хью одновременно ухаживал за тридцативосьмилетней матерью и ее шестнадцатилетней дочкой, но проявил себя импотентом с первой, а со второй оказался недостаточно предприимчив. Здесь перед нами банальный случай затянувшегося эротического зуда, уединенных упражнений, дающих привычное успокоение, и запоминающихся снов. Девушка, к которой он подошел, была приземиста, но обладала приятным, бледным, грубым лицом с итальянистыми глазами. Она привела его к одной из лучших кроватей в уродливых старых "номерах", – а точно сказать, в тот самый "номер", где девяносто один, нет, девяносто два – почти девяносто три года назад заночевал по пути в Италию русский писатель. Застелилась, потом расстелилась, накрылась сюртуком и вновь застелилась кровать – другая, с медными шишечками; приоткрытый саквояж в зеленую клетку встал на кровати, а сюртук перебрался на плечи странника, взлохмаченного, в ночной сорочке без ворота; мы застали его в нерешительности, он размышляет, что ему вынуть из саквояжа (который уедет вперед почтовой каретой) и переложить в заплечный мешок (который он понесет на себе через горы к итальянской границе). Он ожидает, что теперь уже в любую минуту приятель его, Кандидатов, живописец, присоединится к нему для совместного путешествия, одной из беспечных прогулок, от которых романтиков не могла удержать даже мелкая августовская морось; в те неуютные времена дожидло даже сильнее, сапоги его оставались еще мокры после десятимильного похода в ближнее казино. В позах изгнанников они стояли за дверью, а ноги он несколько раз обернул немецкой газетой, кстати сказать, по-немецки читал он с большою легкостью, нежели по-французски. Непонятно, главное, что ему делать с рукописями – упрятать в мешок, или отправить почтой в саквояже, – тут наброски писем, недоконченный рассказ в русской тетради с

матерчатой обложкой, отрывки философской статьи в синей школьной тетрадке, купленной в Женеве, и разрозненные листы рудиментарного романа, предположительно названного "Фауст в Москве". Пока он сидит за дощатым сосновым столом, тем самым, на который Персонова девка плюхнула свою поместительную сумку, сквозь эту сумку, так сказать, проступает первая страница "Фауста" с энергическими подчистками и неопрятными чернильными вставками, фиолетовыми, черными, лягушачьи-зелеными. Созерцание собственного почерка увлекает его; для него хаос на странице – это порядок, кляксы – картины, наброски на полях – крылья. И вместо того, чтобы заняться разбором бумаг, он откупоривает дорожную чернильницу и с пером в руке придвигается поближе к столу. Но в этот миг веселый грохот долетает от двери. Дверь растворяется и затворяется вновь.

Хью Персон проводил свою случайную девушку по длинной лестнице, а там и до ее излюбленного уличного угла, – тут они на долгие годы расстались. Он надеялся, что девушка продержит его до рассвета – и тем избавит от ночи в гостинице, где в каждом темном углу одиночества маячил призрак отца, – но уяснив, что он не прочь остаться, она неверно истолковала это желание, и грубо объявив, что слишком долго пришлось бы приводить в приличную форму столь жалкого исполнителя, выставила его. Впрочем, не дух отца, а духота помешала ему уснуть. Он широко распахнул оба окна; окна выходили на автостоянку, раскинувшуюся четырьмя этажами ниже; узкого мениска над головой не доставало для освещения крыш, уходящих вниз, к незримому озеру; свет гаража выхватывал из темноты ступени безлюдной лестницы, ведущей в мешанину теней; все казалось таким подавленным и далеким, что наш акрофобический Персон, почувствовал, как тяготение манит его, приглашая соединиться с ночью и с отцом. Множество раз он, голым мальчишкой, бродил во сне, но привычное окружение хранило его до поры, пока, наконец, не миновал этот чуждый недуг. Той ночью, на верхнем этаже чужого отеля, защитить его было нечему. Он затворил окна и до зари просидел в кресле.

7

В отрочестве, когда Хью страдал припадками сомнамбулизма, он по ночам, обнимая подушку, покидал свою комнату и плелся в нижний этаж. Он помнил, как пробуждался в самых странных местах – на ступеньках, ведущих в подвал, или в высоком гардеробе в прихожей, среди плащей и галош, и хотя мальчика не так уже и пугали эти босые блуждания, однако он, недовольный тем, что "ведет себя, как привидение", упросил, чтобы его запирали в спальне. Правда, толку из этого не вышло, потому что он все равно выбирался в окно на наклонную крышу галереи, ведущей в школьные дортуары. В первый раз его пробудил холодок черепиц под ступнями, и он возвратился в свое темное логово, огибая стулья и прочие вещи скорее на слух, чем как-то еще. Старый и глупый доктор посоветовал родителям покрыть пол у постели мокрыми

полотенцами и расставить в стратегических пунктах тазы с водой, – единственный результат операции свелся к тому, что, миновав в магическом сне все препятствия, он обнаружил себя дрожащим у подножия дымохода в обществе школьной кошки. Вскоре после этой вылазки призрачные припадки стали редеть, а к концу отрочества практически прекратились. Предпоследним их отголоском стала странная история со столиком у кровати. Хью уже учился в колледже и жил с однокашником, Джеком Муром (не родственником), в двух комнатах только что выстроенного Снайдер–Холла. Джека, утомленного целодневной зубрежкой, пробудил среди ночи треск, долетавший из спальни–гостиной. Он отправился на разведку. Спящему Хью примерещилось, будто трехногий столик, стоявший рядом с кроватью (и утянутый из-под телефона в прихожей), сам собой исполняет яростный воинственный танец, – нечто подобное он уже видел однажды на "сеансе", когда у приبلудного духа (Наполеона) спросили, не скучает ли он по весенним закатам Святой Елены. Джек Мур увидел, как Хью, перевесясь за край кушетки, обхватил столик руками и корежит безобидную вещь в смехотворных потугах прекратить ее несуществующее движение. Книги, пепельница, будильник, коробочка таблеток от кашля – все разлетелось по полу, а терзаемое дерево трещало и кричало в дурацких объятиях. Джек Мур разнял драчунов. Хью, не проснувшись, молча повернулся на бок.

8

За те десять лет, которым полагалось пройти между первым и вторым приездами Хью Персона в Швейцарию, он зарабатывал на жизнь различными скучными способами, что выпадают на долю множеству блестящих молодых людей, не наделенных ни особым даром, ни честолубием, и привычно отдающих лишь часть ума выполнению пустых, а то и шарлатанских обязанностей. Что они делают с другой, гораздо обширнейшей частью, где и как проживают подлинные их причуды и чувства, это не то чтобы тайна, – какие уж тайны теперь, – но может повлечь за собой откровения и осложнения, слишком печальные, слишком пугающие, чтобы сходиться с ними лицом к лицу. Лишь знатоки и знатокам на потребу вправе исследовать скорби сознания. Он обладал способностью перемножать в уме восьмизначные числа – и утратил ее за несколько сереньких, убывающих ночей в больнице, куда попал в двадцать пять лет с вирусным заражением. Он опубликовал в университетском журнале стихотворение, длинное и бессвязное, с многообещающим началом:

Блаженны многоточия... Вот солнце

роняет в воду райский образец...

Ему принадлежит письмо в лондонскую "Times", перепечатанное несколько лет спустя в антологии "To the Editor: Sir"[6], в нем читаем:

"Анакреон скончался восьмидесяти пяти лет от роду, задушенный "винным скелетом" (как выразился иной иониец), а шахматисту Алехину цыганка напороочила, что его убьет в Испании мертвый бык."

Семь послеуниверситетских лет он состоял в секретарях и анонимных помощниках у знаменитого проходимца, ныне покойного символиста Атмана, и именно на нем лежит ответственность за сноски подобные этой:

"Кромлех (ассоциируемый с млеком, молоком и молоками) очевидно представляет собой символ Великой Матери, столь же явственно, как менгир ("mein Herr") несет мужское начало."

Еще один срок он отбыл, торгуя канцелярскими принадлежностями, и пущенная им в продажу самопишущая ручка носит его имя: "Персоново Перо". Впрочем, она и осталась наивысшим его достижением. Мрачной двадцатидевятилетней персоной он поступил на службу в крупную издательскую фирму, где подвизался в разных должностях — помощника изыскателя, ловца талантов, помощника редактора, младшего редактора, корректора, утешителя наших авторов. Угрюмый раб, он был отдан в распоряжение миссис Фланкар, пышной дамы с претензиями, краснолицей и пучеглазой на осьминожий покррой. Издательство намеревалось опубликовать ее исполинский роман "Самец" при условии основательной правки, безжалостных сокращений и частичной переработки. Предполагалось, что переписанные куски — по несколько страниц там и сям — перекинут мосты над черными, кровоточащими провалами щедро отвергнутой писанины, зиявшими меж уцелевших глав. Эту работу проделала сослуживица Хью, милая девушка с "конским хвостиком", уже успевшая из фирмы уволиться. Талант романиста был ей присущ еще в меньшей мере, чем миссис Фланкар, и Хью пришлось маяться с окаянной задачей — залечиванием не только нанесенных ею ран, но и не тронутых ей бородавок. Несколько раз его приглашали к чаю в очаровательный пригородный дом миссис Фланкар, украшенный почти исключительно полотнами кисти ее покойного мужа, — ранней весной в гостиной, летом в столовой, пышной красой Новой Англии в библиотеке и зимой в спальне. В этой именно комнате Хью предпочитал не задерживаться, ибо испытывал неприятное чувство, что миссис Фланкар уповает на изнасилование под сиреневыми снежинками мистера Фланкара. Подобно многим перезрелым, но еще недурным собою артистическим дамам она, казалось, вовсе не сознавала, что объемистый бюст, шея в морщинах и запашок затхловатой женственности, настоенной на одеколоне, способны отпугнуть нервного мужчину. Когда "наша" книга, наконец, вышла в свет, он облегченно всхлипнул. Благодаря коммерческому успеху "Самца" ему поручили дело поприметнее. "Мистер R.", как его называли

в издательстве (обладатель длинного двухчастного немецкого имени с благородной частицей между скалой и твердыней) писал по-английски лучше, чем говорил. Соприкасаясь с бумагой, его язык обретал богатство, стать, зримый напор, побуждая кое-кого из не самых придирчивых критиков облюбованной им страны именовать его великолепным стилистом. Корреспондентом мистер R. был раздражительным, невежливым и неприятным. Его и Хью сношениям через океан, — мистер R. жил все больше во Франции и Швейцарии, — недоставало сердечного пыла, озарявшего муки с миссис Фланкар; но мистер R., мастер, быть может, и не первостатейный, был хотя бы настоящим художником, сражавшимся собственным оружием и на собственной территории за право использовать неправовую пунктуацию, отвечающую неповторимой манере мышления. Наш покладистый Персон безболезненно запустил в производство мягкое издание одной из первых его книг, но затем началось долгое ожидание нового романа, который R. обещал представить еще до окончания этой весны. Весна миновала, не принеся плодов, — и Хью полетел в Швейцарию для личной встречи с медлительным автором. Это была вторая из четырех его поездок в Европу.

9

С Армандой он познакомился в швейцарском железнодорожном вагоне одним ослепительным вечером между Туром и Версексом, в самый канун встречи с мистером R. Хью по ошибке сел в медленный поезд, она же выбрала его потому, что поезд вставал на маленькой станции, от которой ходил автобус до Витта, где у ее матери было шале. Оба одновременно опустили на два супротивных сидения у окна, с озерной стороны вагона. Четыре места за проходом заняла американская семья. Хью раскрыл "Journal de Genève".

О да, она была красива и была бы красива необычайно, окажись губы ее немного полнее. Темные глаза, светлые волосы, медового тона кожа. Две серповидные морщинки спускались вдоль загорелых щек по сторонам от скорбного рта. Черный жакет поверх сборчатой блузки. На коленях, под ладонями в черных перчатках лежала книга. Пламя и копоть бумажной обложки показались ему знакомыми. Механизм их знакомства был идеально банален.

Они обменялись взглядами учтвого неодобрения, когда трое американских детишек затеяли тянуть из чемодана свитера и штаны в яростных поисках чего-то, по глупости забытого (груды комиксов — уже перешедшей вместе с грязными полотенцами в распоряжение расторопной гостиничной горничной). Один из двух взрослых, встретясь с холодными глазами Арманды, ответил добродушно-беспомощным взглядом. Кондуктор пришел за билетами.

Хью, слегка наклонивши голову, уверился в своей правоте:

действительно, мягкая копия "Фигур в золотом окне".

"Из наших", – сказал Хью, кивком указав на обложку.

Она взглянула на книгу, словно надеясь найти в ней какие-то объяснения сказанному. На ней была очень короткая юбка.

"Я к тому, что работаю в этом издательстве, – сказал он. – У американского издателя, который выпустил ее в твердой обложке. Вам нравится?"

Она отвечала на беглом, но искусственном английском, что терпеть не может сюрреалистических романов с поэзией. Ей требовалась жесткая реалистическая литература, отражающая наше время. Ей нравились книги о насилии и о восточной мудрости. Может, дальше получает?

"Вообще-то там есть довольно драматичная сцена на ривьерской вилле, когда девочка, дочь рассказчика..."

"Джун."

"Да. Джун поджигает свой новый кукольный домик и вилла сгорает дотла; правда, насилия, боюсь, и в ней маловато; все это скорее символично, в высоком смысле слова, и, как бы сказать, временами удивительно нежно, как пишут в обложечных рекламках, или по крайней мере писали на нашем первом издании. Это обложка известного Пола Плама."

Разумеется, она ее докончит, как бы ни было скучно, потому что в жизни любое дело следует доводить до конца, как то шоссе над Виттом, у них в Витте дом, chalet de luxe[7], и пока не проложили новое шоссе, приходилось тащиться пешком до канатной дороги на Дракониту. "Горящее окно", кажется, так она называется ей только вчера подарила на двадцатитрехлетие падчерица автора, которую он может быть...

"Джулия."

Да. Джулия и она вместе преподавали зимой в тессинской школе для девочек-иностранок. Отчим Джулии только-только развелся с ее матерью, вообще он безобразно с ней обходился. Что преподавали? Ну, осанку, ритмику – в этом роде.

Теперь Хью и новая, неотразимая персона перешли на французский, на котором он говорил во всяком случае не хуже, чем она по-английски. А как ему кажется, кто она по национальности? Датчанка или голландка? Нет, семья отца происходит из Бельгии, он был архитектор, его прошлым летом убило, когда он командовал сносом знаменитого отеля на заброшенных минеральных водах, а мать родилась в России, в весьма благородном milieu[8], конечно, полностью уничтоженном революцией. Нравится ему его работа? Не согласится ли он чуть-чуть приспустить эту сторку? Погребение павшего солнца. Это что, поговорка? – поинтересовалась она. Да нет, только что выдумал.

Тою же ночью в Версексе Хью писал в дневнике, который вел от случая

к случаю: "Разговорился в поезде с девушкой. Восхитительные голые коричневые ноги и золотые сандалии. Безумное вожделение школьника и никогда не испытанное прежде романтическое смятение чувств. Арманда Камар. La particule aurait juré avec la dernière syllabe de mon prénom[9]. По-моему Байрон использует "chamar" в значении "павлинье опахало" в весьма благородном восточном milieu. Чарующе рассудительна и притом чудесно наивна. Выстроенное отцом шале над Виттом. Если окажетесь в этих parages[10]. Пожелала узнать нравится ли мне моя работа. Моя работа! Я отвечал: "Не спрашивай, чем я занят, спроси на что я способен, дивная девушка, дивные солнечные поминки под полупрозрачной черной тканью. Я способен ровно за три минуты заучить наизусть целую страницу телефонной книги и не могу запомнить номер собственного телефона. Я могу сочинять стихи без конца и начала, странные и неслыханные, совсем как ты, таких еще триста лет никто сочинить не сумеет, и все же я не напечатал ни единой строки, не считая той юношеской ерунды, в колледже. На кортах отцовской школы я изобрел убийственный возврат подачи – резанный льнуший драйв, – и все же теряю дыхание после первого гейма. Я могу написать акварелью и тушью непревзойденной светозарности озеро, отражающее горные выси, но не способен нарисовать ни лодки, ни моста, ни очертаний человеческой паники в пламенеющих окнах Пламовой виллы. Я преподавал в американских школах французский язык, но так и не смог избыть канадского акцента моей матери, хотя отчетливо слышу его, когда шепчу французские фразы. Ouvre ta robe, Déjanire, чтобы я мог взойти sur mon bûcher[11]. Я могу левитировать, могу провисеть в вершке над полом десять секунд, но не способен забраться на яблоню. У меня степень доктора философии, и я не знаю немецкого. Я влюбился в тебя, но ничего не стану предпринимать. Короче говоря, я – всеобъемлющий гений." По совпадению, достойному другого гения, книга, которую она читала, оказалась подарком его падчерицы. Джулия Мур несомненно забыла, что я обладал ею два года назад. И мать, и дочь – обе заядлые путешественницы. Они побывали на Кубе, в Китае, в иных таких же тоскливых и неразвитых странах и с уважительным неодобрением отзываются о множестве очаровательных и странных людей, с которыми там подружились. Parlez-moi de son[12] отчим. Быть может, он très fasciste[13]? Не сумела понять, почему я назвал левые устремления миссис R. заурядным буржуазным поветрием. Mais au contraire[14], она и дочь без ума от радикалов! Ну что же, сказал я, у мистера R., lui[15], иммунитет к политике. Моя бесценная считает, что в том-то и горе его. Шея цвета сливочной ириски, золотой крохотный крестик и grain de beauté[16]. Соразмерная, сильная, смертоносная!"

Кое-что он все же предпринял, при всем уважительной неодобрении к собственной персоне. Он послал ей письмо из почтенного версекского "Паласа", где ему предстояло через пару минут сойтись за коктейлем с

самым ценным из наших авторов, лучшая книга которого Вам не понравилась. Нельзя ли мне навестить Вас, скажем, в среду, четвертого. Потому что я к этому времени как раз буду в отеле "Аскот" в Вашем Витте, где, говорят, даже летом можно отлично покататься на лыжах. С другой стороны, главная цель моего пребывания здесь – выяснить, когда старый мошенник закончит теперешнюю книгу. Странно вспомнить, как волновался я только позавчера, предвкушая возможность наконец-то увидеть великого человека во плоти.

Плоти оказалось даже поболее, чем ожидал, исходя из недавних снимков, наш Персон. Пока он сквозь окно вестибюля вглядывался в R., выползающего из машины, ни горны гордыни, ни вопли восторга не сотрясали его нервной системы, ныне полностью занятой голоногой девушкой в пронизанном солнцем вагоне. И все же зрелище R. являл собой величавое: – красавец шофер поддерживал тучного старика с одного боку, чернобородый секретарь подпирал с другого, а на ступенях крыльца чета отельных *chasseurs*[17] изображала участливые порывы. Скрытый в Персоне репортер отметил, что на мистере R. бархатисто-шоколадные теннисные туфли, лимонная рубашка с сиреневым шейным платком и помятый серый пиджак, как будто лишенный особых примет, – по крайней мере на взгляд рядового американца. Привет, Персон! Они расположились в холле при баре.

Иллюзорный характер события в целом обогащался видом и речами двух персонажей. Этот монументальный мужчина в глинистом гриме и с притворной улыбкой, казалось, разыгрывал на пару с украшенным бандитской бородкой мистером Тамвортом, косной рукой написанную сцену, потешая ею незримую публику, от которой Персон, бутафорское чучело, все отворачивался, словно его вместе с креслом передвигала затаившаяся Шерлокова экономка, – как бы он ни садился и куда бы не вглядывал в ходе этой недолгой, но пьяноватой беседы. В сущности, все казалось подделкой, паноптикумом в сравнении с подлинностью Арманды, чей облик, запечатленный в очах его души, просвечивал сквозь представление на самых различных уровнях – порой кверху ногами, порой на манящей обочине поля зрения, – но постоянно присутствующий, постоянно, пронзительный и правдивый. Пустые слова, которыми он и она обменялись, ослепляли пламенем истинности в сравнении с натужным гоготком в плохо подделанном баре.

"Ну что же, вид у вас прямо цветущий", – сказал с оживленной лживостью Хью, вслед за тем, как заказали напитки.

Барон R. имел бледное, грубой лепки лицо, бугристый нос с раздутыми порами, воинственные косматые брови, бестрепетный взгляд и бульдожий рот, полный плохих зубов. Скверноватая изобретательность, столь явственная в его сочинениях, проявлялась и в заранее подготовленных кусках его речи, – к примеру, когда он, как сейчас, говорил, что, имея вид отнюдь не "цветущий", он прямо-таки чувствует, как его все больше поражает ползучее сходство с фильмовой звездой по фамилии Рубенсон, игравшей когда-то старых гангстеров в фильмах, снимавшихся во Флориде; на самом деле такого актера и вовсе не существовало.

"Во всяком случае – как ваши дела?" – спросил, справясь с ощущением неловкости, Хью.

"Говоря как нельзя короче, – отвечал мистер R. (имевший пренебрежительное обыкновение не только прибегать к избитым клише в своем подпорченном тяжким акцентом, якобы разговорном английском, но и к тому же еще их калечить), – мне, понимаешь ли, всю зиму неможилось. Печень, понимаешь, что-то такое затаила против меня."

Он основательно отхлебнул из стакана виски и, ополаскивая им рот, чего Персону никогда еще видеть не приходилось, очень медленно опустил стакан на низенький столик. Затем, вслушиваясь, проглотил и перешел на вторую из своих английских манер – на велеречивый слог самых памятных его персонажей:

"Бессонница и сестрица ее, Никтурия, конечно, порядком меня изнурили, но в остальном я крепок, как пласт почтовых марок. По-моему, ты еще не знаком с мистером Тамвортом. Персон, произносится "Парсон", – и Тамворт: от английской породы пятнистой свиньи."

"Нет, – сказал Хью, – фамилия произошла не от "Парсон", скорее от "Петерсон".

"О'кей, сынок. Ну, как там Фил?"

Они коротко обсудили мощь, пронизательность и обаяние издателя R.

"Не считая только того, что он норовит заставить меня писать не те книги. Ему нужен... – и он заговорил стесненным горловым голосом, перечисляя заглавия романов своего соперника, также издаваемого Филом, – ему нужен "Мальчик для развлечений", хотя сгодится и "Щуплая шлюшка", а все что я могу ему предложить – это не "Фигли-мигли", но первый и самый унылый том моих "Фигуральностей"."

"Уверяю вас, что он с огромным нетерпением ожидает рукописи. Кстати..."

Вот уж действительно "кстати"! Надо думать, в риторике существует особый термин для этого рода алогических поворотов. Неповторяемый вид, мельком, сквозь черную ткань. Кстати, я помешаюсь, если она не станет моей.

"...Кстати, я вчера познакомился с девушкой, которая встречалась на днях с вашей падчерицей."

"Бывшей, – уточнил мистер R. – Бог знает, сколько не виделись, надеюсь, и не придется. Того же пойла, сынок" (это бармену).

"Довольно занятный случай. Сидит напротив девушка и читает..."

"Прошу прощения", – ласково сказал секретарь, и сложив второпях нацарапанную записку, протянул ее Хью.

"Мистеру R. неприятно любое упоминание о мисс Мур и ее матери."

И я его не виню. Но куда подевался такт, прославивший Хью?

Легкомысленный Хью отличным образом знал положение в целом, его просветил Фил, – не Джулия, девушка хоть и не целомудренная, но скромная.

Эта часть просвечивания выйдет у нас скучноватой, но мы обязаны завершить настоящий отчет.

В один прекрасный день мистер R. с помощью наемного соглядатая установил, что у его жены Мэрион роман с Христианом Пайнзом, сыном известного в мире кино человека, ставившего картину "Золотистые окна" (шатко основанную на одном из лучших романов нашего автора). Мистера R. это весьма устраивало, поскольку он напропалую ухаживал за Джулией Мур, своей восемнадцатилетней падчерицей, и теперь у него зародились планы на будущее, вполне достойные сентиментального сладострастника, коего еще не насытили три или четыре супружества. Впрочем, он очень скоро узнал от того же сыщика, в настоящее время умирающего в горячей и грязной больнице на Формозе (остров), что молодой Пайнз, приятный плейбой с лягушачьей физиономией (тоже скоро умрет), состоял в любовниках и у мамочки, и у дочки, которых он целых два лета обслуживал в Кавалерии (штат Калифорния). В итоге расставание оказалось полней и болезненней, чем рассчитывал R. И надо же было нашему Персону в самый разгар этой истории на свой неприятный и неприметный манер (он, впрочем, ростом на полвершка превосходил статного R.) втиснуться с уголка в переполненный холст.

11

Джулия любила высоких мужчин с сильными руками и грустью в глазах. Хью познакомился с ней на приеме в одном из нью-йоркских домов. Дня два спустя он снова столкнулся с ней у Фила; она спросила, не желает ли он посмотреть "Звезду пирушки", нашумевшую "авангардную" пьесу – у нее было два билета, для себя и для матери, но матери пришлось уехать из Вашингтона по делу (связанному, как правильно догадался Хью, с разводом): так не согласится ли он составить ей компанию? В искусстве "авангард" означает не многим больше подлаживания под какую-нибудь отчаянно смелую обывательскую моду, и потому, когда разъехался занавес, Хью без удивления обнаружил, что его собираются потчевать видом голого анахорета, сидящего посреди пустой сцены на треснувшем толчке. Джулия захихикала, предвкушая чудный вечер. Хью пришлось огромной стеснительной лапой накрыть ее детскую ладошку, ненароком павшую ему на колено. На взгляд сластолюбца она – с ее кукольным личиком, наклонным разрезом глаз и топазовыми слезками в мочках ушей, с легкими формами под оранжевой блузкой и черной юбкой, с нежно сочлененными конечностями и с экзотически гладкими волосами, ровно подрезанными на лбу, – была удивительно мила. Не менее милой представлялась и мысль, что мистер R., похвалявшийся интервьюеру наличием у него немалой телепатической силы, в настоящий момент

пространствавремени должен испытывать в своем швейцарском прибежище ревнивые корчи.

Поговаривали, будто после первого представления пьесу запретят. Буйные молодые манифестанты, коих изрядное число собралось, чтобы на всякий случай попротестовать, ухитрились—таки сорвать тот самый спектакль, который они пришли защитить. Взрыв нескольких карнавальных петард наполнил зал горьковатым дымом, шустрое пламя побежало по змеистым лентам зеленой и красной туалетной бумаги, и публику пришлось эвакуировать. Джулия объявила, что умирает от разочарования и жажды. Прославленный бар при театре оказался безнадежно заполнен, и "в сиянии райской упрощенности нравов" (как в иной связи писал мистер R.) наш Персон повез девушку к себе на квартиру. Не стоило бы ему загадывать — после того, как слишком страстный поцелуй заставил его обронить в такси несколько нетерпеливых огненных капель, — оправдает ли он ожидания Джулии, которую R., если верить Филу, совратил еще тринадцатилетней, в самом начале бедственного брака ее матери.

Холостую квартирку, которую Хью снимал на шестьдесят пятой восточной улице, ему подыскала фирма. И так уж совпало, что именно в этих комнатах Джулия тому два года назад навещала одного из лучших ее молодых любовников. Ей хватило вкуса смолчать, но призрачный образ юноши, чья смерть на далекой войне так сильно ее поразила, то выходил из ванной, то рылся в холодильнике, — и вообще так странно замешивался в пустяковое дело, которым ей предстояло заняться, что она не позволила ни расстегнуть на себе молнию, ни уложить себя в постель. Разумеется, после приличного промежутка малышка пошла на попятную и вскоре уже помогала огромному Хью в его бестолковом любодействе. Однако едва прервалась привычная череда тычков и запышек, и Хью с неумело деланой бойкостью отправился за новой порцией выпивки, как образ бронзоватого и белозадого Джимми Мейджера вновь заместил костлявую реальность. Она обнаружила, что зеркало одежного шкапа, если смотреть из кровати, отражает ту же постановку для натюрморта — апельсины в деревянной чаше, — что и в короткую, словно жизнь цветочной гирлянды, пору Джима, ненасытного пожирателя этого лакомства долгожителей. Оглядевшись, она обнаружила источник видения в складках своей яркой одежды, брошенной на спинку стула, и почти пожалела об этом.

Следующее их свидание она в последний момент отменила, а вскоре за тем укатила в Европу. В душе Персона этот роман оставил след немногим больший пятнышка светлой помады на бумажной салфетке — и романтическое ощущение человека, державшего в объятиях возлюбленную великого писателя. Впрочем, время берет в работу эти эфемерные приключения, сообщая воспоминанию новый букет.

Ну вот, наконец, мы видим драный лист "La Stampa" и пустую бутылку из-под вина. Строительство шло полным ходом.

Строительство шло полным ходом в окрестностях Витта, и целый склон холма, на котором он, как ему было сказано, сможет найти виллу "Настя", оказался изрыт и измызган. Ближайшее его окружение было так или иначе прибрано, образуя оазис тишины посреди гремящей и лязгающей дичи канав и кранов. И даже дамский магазинчик поблескивал среди лавчонок, обступивших полукругом свежесаживаемую молодую рябину, под которую уже нанесли всякого сору вроде пустой пролетарской бутылки и такой же итальянской газеты. Здесь способность ориентироваться покинула Персона, но женщина, торговавшая поблизости яблоками с лотка, наставила его на истинный путь. Чересчур привязчивая большая белая псина неприятно затрусила следом за ним, но, окликнутая женщиной, отстала.

Он полез вверх по крутой асфальтовой стезе, шедшей вдоль белой стены, над которой виднелись ели и лиственницы. Узорчатая дверца в ней вела к какому-то лагерю или школе. Из-за стены доносились крики игравших детей, потом над нею проплыл и приземлился к ногам Персона бадминтонный волан. Персон оставил его без внимания, он не принадлежал к породе людей, услужливо подбирающих вещи для посторонних, — перчатки, укатившуюся монету.

Чуть дальше проем в каменной стенке обнаружил короткую лестничку и дверь беленого бунгало с надписью французским курсивом "Вилла Настя". Как часто случалось в романах R., "на звонок никто не ответил". Хью заметил пообок крыльца ступеньки, спускавшиеся (после дурацкого-то восхождения!) в едкую сырость самшита. Обогнув дом, они привели его в сад. Широкий и мелкий бассейн, лишь наполовину достроенный, соседствовал с небольшой лужайкой, в середине которой, загорая, покоилась в полотняном кресле дебелая дама средних лет с болезненно малиновыми конечностями, намазанными чем-то жирным. Экземпляр, и без сомнения тот же самый, "Фигур" и так далее со сложенным письмом вместо закладки (коего, по нашему мнению, было бы лучше Персону не признавать), лежал поверх сплошного купальника, в который была упрятана основная часть ее туловища.

Мадам Шарль Камар, рожденная Анастасия Петровна Потапова (весьма почтенная фамилия, превращенная ее покойным супругом в "Патапуф"), была дочерью богатого скотопромышленника, который вскоре после большевистской революции эмигрировал с семейством из Рязани в Англию через Харбин и Цейлон. Она давно уж свылась с необходимостью развлекать то одного, то другого из молодых людей, обмороченных непостоянной Армандой; однако этот новый ухажер оказался одет, будто прикащик, и было в нем что-то еще (твоя одаренность, Персон!), озадачившее и раздражившее мадам Камар. Она предпочитала, чтобы люди умещались в какие-то рамки. Швейцарский юноша, с которым Арманда в эту минуту каталась на лыжах в вечных снегах высоко над Виттом, — умещался вполне. То же и близнецы по фамилии Блэйк. То же и сын старого горного гида, златоволосый Жак, чемпион бобслея. А мой долговязый и хмурый Хью Персон в этом ужасном галстуке, вульгарно пристегнутом к дешевой белой сорочке, и в невозможном каштановом

костюме не принадлежал к миру, который она почитала приемлемым. Услышав, что Арманда развлекается неведомо где и едва ли вернется к чаю, он не потрудился скрыть удивление и досаду. Стоял, поскребывая щеку. Испод его тирольской шляпы потемнел от пота. А письмо его Арманда получила?

Мадам Камар ответила неразборчивым отрицанием, — она могла бы свериться с предательской закладкой, но по безотчетной материнской осмотрительности воздержалась от этого. Взамен она сунула книжицу в свою садовую сумку. Хью машинально заметил, что на днях навещал ее автора.

"Он ведь, по-моему, живет где-то в Швейцарии?"

"Да, в Даблоне, около Версекса."

"Даблоне всегда напоминает мне русскую "яблоню". Хороший дом у него?"

"Да как вам сказать, мы встретились в Версексе, в гостинице, не у него дома. Я слышал, что дом очень просторный и старомодный. Мы-то говорили с ним о делах. Конечно, в доме вечно полным-полно его, ну, довольно беспутных гостей. Я обожду немного, а там и пойду."

Скинуть пиджак и отдохнуть в полотняном кресле, стоявшем бок о бок с креслом мадам Камар, он отказался. Пояснил, что от обилия солнца у него кружится голова. "Alors allons dans la maison"[18], — сказала она, верно переводя с русского. Увидев, каких усилий ей стоит подняться, Хью предложил ей помощь, но мадам Камар резким тоном велела ему держаться от ее кресла подальше, — чтобы не создавать своей близостью "психологического препятствия". Ее неподатливый корпус приводился в движение только посредством особого, точно исполненного рывочка, а произвести его удавалось, лишь сосредотачиваясь на воображаемых попытках облапошить силу тяжести, — в конце концов, внутри что-то не щелкало и нужный подскок совершался сам собой, подобно чуду чихания. До той поры она лежала недвижно, как оглушенная, и бравый пот посверкивал у нее на груди и над лиловатыми дугами пастельных бровей.

"Этого вовсе не нужно, — говорил Хью, — я с удовольствием подожду тут, под деревом, мне просто нужна тень. Ни когда не думал, что в горах может стоять такая жара."

Все тело мадам Камар вдруг встрепенулось так, что каркас ее кресла испустил почти человеческий крик. В следующий миг она уже сидела, утвердив обе ступни на земле.

"Все в порядке, — уютно объявила она и встала, оказавшись с внезапностью волшебного превращения облаченной в яркий махровый халат. — Пойдемте, я напою вас холодненьким и покажу вам мои альбомы."

"Холодненькое" обернулось высоким граненым стаканом тепловатой водопроводной водицы с ложкой домашнего клубничного варенья,

закрасившей воду в цвета просвирника. Альбомы, четыре увесистых переплетенных тома, были разложены на очень низком, очень круглом столе в очень "модерной" гостиной.

"Я вас ненадолго покину", – сказала мадам Камар и на глазах у публики с грузной решимостью затопала вверх по отовсюду видной и слышной лестнице, ведущей на столь же откровенный второй этаж, где из одной раскрытой двери глядела кровать, а из другой биде. Арманда говорила, что это творение ее покойного отца само просилось на выставку, привлекая туристов из таких дальних стран, как Родезия и Япония.

Альбомы оказались нелицемерны под стать постройке, но хотя бы не так угнетали. Линия Арманды, чрезвычайно интересовавшая нашего *voueur malgré lui*[19], торжественно открывалась портретом покойного Потапова, весьма импозантного семидесятилетнего старца в седой эспаньолке и домашней китайчатой куртке, подслеповато крестившего на русский манер невидимое в глубокой колыбели дитя. Снимки не только проходили вслед за Армандой сквозь все периоды прошлого и все успехи любительской фотографии, но и девочку являли в разнообразных состояниях невинной голизны. Ее родители и тетки, ненасытимые изготовители очаровательных карточек, питали уверенность в том, что десятилетняя девочка, мечта лютвидгеанца, имеет столько же прав на полную наготу, сколько их есть у новорожденного младенца. Гость уложил альбомы стопой, ограждая пламя своей любознательности от всякого, кто пожелал бы присмотреться к нему с верхней площадки лестницы, и несколько раз возвращался к картинам купания маленькой Арманды, прижимавшей к блестящему животу хоботастую игрушку или стоявшей во весь рост, с ямками на ягодицах, ожидая, когда ее станут намыливать. Еще одно откровение недозрелой мякоти (которой срединная линия явственно рознилась от льнувшей к ней, но не столь вертикальной травинки) обнаруживал снимок, на котором она нагишом сидела в траве, расчесывая прошитые солнцем волосы и в ложной перспективе широко разведя прелестные великанские ноги.

Он услышал, как наверху забурился унитаз, и виновато наморщась, захлопнул толстую книгу. Хмуро съежилось, умерив толчки, его растяжимое сердце, но с адских высей никто не спустился, и он, урча, воротился к своим неприличным картинкам.

К концу второго альбома фотографии вспыхнули красками, праздная оживленную смену нарядов, ее подростковую линьку. Она появлялась среди резкой зелени и синевы коммерческого спектра то в цветистых платьях, то в затейливых брючках, то в теннисных трусиках, то в купальных костюмах. Он открыл элегантную угловатость ее загорелых плеч, длинную линию бедер. Он узнал, что к восемнадцати годам поток ее светлых волос достиг поясицы.

Ни одна из брачных контор не сумела бы предложить своей клиентуре такого обилия вариаций на тему единственной девственности. В третьем альбоме он с радостным чувством возвращения домой обнаружил промельки своего ближайшего окружения: лимонные и черные подушки дивана в дальнем конце гостиной и Дентонову подставку с парусником на каминной доске. В начале четвертого, недозаполненного альбома

искрились самые целомудренные из ее изображений: Арманда в розовой парке, Арманда самоцветно-яркая, Арманда, кренящаяся на лыжах в облаке сахарной пыли.

Наконец, мадам Камар начала с опаской спускаться из верхней части прозрачного дома, студенистое голое предплечье ее подрагивало, когда она вцеплялась в перила. Теперь ее облекало сложное, все в оборках летнее платье, словно бы и она, подобно дочери, прошла через несколько стадий метаморфозы. "Не вставайте, не вставайте", – вскричала она, рукой прибивая воздух, но Хью упорствовал в желании уйти. "Скажите ей, – прибавил он, – скажите вашей дочери, когда она вернется со своего глетчера, что я ужасно разочарован. Скажите, что я проживу неделю, две, даже три недели здесь, в зловещем отеле "Аскот" презренной деревни Витт. Скажите, что я позвоню ей, если она мне не позвонит. Скажите, – продолжал он, уже шагая скользкой тропой вдоль кранов и могучих копалок, застывших в золоте раннего вечера, – скажите, что все мое естество отравлено ею, двадцаткой ее сестер, двадцаткой сброшенных ею оболочек, скажите, что я погибну, если она не станет моей."

Он все-таки был простоват, что не редкость между влюбленными. А стоило бы сказать толстой, вульгарной мадам Камар: как смеете вы выставлять ваше дитя напоказ перед чувствительными незнакомцами? Впрочем, нашему Персону смутно воображалось, что это проявление современной нескромности, обычной в кругу мадам Камар. Господи, да в каком там еще "кругу"? Мать этой дамы была дочерью деревенского ветеринара, точь в точь как и матушка Хью (по единственному стоящему особой отметки совпадению во всей этой довольно грустной истории). Да убери те же вы эти снимки, глупая вы нудистка!

Она позвонила ближе к полуночи, вырвав его из мимолетного, но определенно дурного сна (порожденного расплавленным сыром, юной картошкой и бутылкой молодого вина в отельном carnet[20]). Хватая трубку, он другой рукой нашарил очки для чтения, без которых по странной причуде союзных чувств, толком не мог разговаривать по телефону.

"Вы Персон?" – спросил ее голос.

Он знал уже – с той минуты, как она зачитала вслух содержимое карточки, врученной ей в поезде, что она выговаривает его имя как "You[21]".

"Да, это я, то есть "вы", я хочу сказать, что вы произosite мое имя неправильно, но совершенно очаровательно."

"Я все произношу правильно. Послушайте, я так и не получила..."

"Оставьте! Вы опускаете начальные согласные, словно – словно жемчужины в чашку слепца."

"Правильно говорить не "в чашку", а "в шапку". Моя взяла. Ладно, послушайте, завтра я занята, как вы насчет пятницы, – сможете быть готовы sept heures précises?[22]"

Разумеется, сможет.

Она пригласила "Перси", объявив, что отныне будет звать его так, раз ему не нравится "Хью", отправиться с ней в Дракониту кататься на лыжах, и ему представился темный лес, защищающий романтических путников от синего пламени альпийского полудня. Он сказал, что хоть и проводил отпуска в Шугарвуде, Вермонт, но так и не освоился с лыжами, однако будет счастлив прогуляться с ней по тропе, не только сотворенной его фантазией, но и чисто выметеной метлою снежного человека, – одно из тех мгновенных, невыверенных видений, что могут запорошить глаза и умнейшему человеку.

13

Теперь у нас в фокусе главная улица Витта, какова она в четверг, назавтра после ее звонка. Улица кишит прозрачными людьми и процессами, в которые или сквозь которые мы бы могли уплыть с упоением ангела или автора, но для настоящего отчета нам надлежит выделить одну лишь персону – Персона. Не Бог весть какой ходок, он ограничил свой досуг скучноватым осмотром деревни. Железный поток машин катил и катил, одни с грузной опасливостью косных механизмов искали, куда бы приткнуться, другие бежали со стороны или в сторону Тура, курорта куда более модного, лежавшего в двадцати милях к северу. Несколько раз миновал он старый фонтан, источавший по капле в желоб, продолбленный в старом обсаженном геранью бревне; он осмотрел почту и банк, церковь и туристическое агентство, и знаменитую закопченную хибару, которой вместе с грядкой капусты и распятым пугалом позволяли еще прозябать между пансионом и прачешной. Он выпил пива в двух разных харчевнях. Постоял перед лавкой спортивных товаров; вернулся, еще постоял – и купил хороший серый свитер с высоким горлом и с крохотным, очень красивым американским флагом, вышитым прямо над сердцем. Бирка шепнула: "Сделано в Турции".

Наконец он решил, что пора подкрепиться, и увидел ее, сидящую за столиком уличного кафе. Ты прыгнул к ней, решив, что она одна, и слишком поздно заметив вторую сумку на стуле насупротив. И сразу ее подруга вышла из чайной и, усевшись, сказала милым нью-йоркским голосом с тем оттенком распутного натиска, который он признал бы даже в раю:

"Сатира на сортир."

Между тем подошел не сумевший содрать маску учтивой ухмылки Хью Персон и его пригласили к столу.

Женщина за соседним столиком, комически напомнившая Персону его

покойную тетю Меллису, которую все мы так любим, читала "l'Erald Tribune". Арманда думала (в вульгарном значении этого слова), что Джулия Мур знакома с Перси. Джулия тоже так думала. Тоже и Хью, конечно, еще бы. Не разрешит ли двойник его тетки позаимствовать незанятый стул? Пожалуйста, пожалуйста. Дивной души была старушка, жила с пятью кошками в игрушечном домике в самом конце березовой аллеи посреди тишайшей...

Прервав нас ушираздирающим лязгом, бесстрастная официантка, существо по-своему тоже несчастное, уронила на стол поднос с лимонадом и булочками и сложилась втрое, рассыпаясь во множестве странных в подобной женщине мелких, суетливых движений; лицо ее осталось бесстрастным.

Арманда уведомила Перси, что Джулия прикатила из самой Женевы, чтобы получить у нее консультацию относительно перевода нескольких фраз, которыми она, Джулия, собиравшаяся назавтра в Москву, намеревается "сразить" своих русских друзей. Перси, к слову сказать, работает у ее отчима.

"У моего бывшего отчима, благодарение Богу, — сказала Джулия. — А кстати, Перси, если это ваш *pot de voyage*[23], возможно, вы сможете нам помочь. Как она вам сказала, мне хочется ошарашить кое-кого в Москве, они меня обещали свести с молодым, знаменитым русским поэтом. Арманда снабдила меня кучей чудных словечек, но мы с ней застряли на — (извлекая из сумки листок) — Мне нужно знать, как сказать: "Какая милая маленькая церковь, какой огромный снежный занос". Понимаете, мы сначала разбираемся по-французски, и она считает, что "*snowdrift*" — это "*rafale de neige*[24]", но я уверена, что это не може быть ни "*rafale*" по-французски, ни "рафалович" по-русски, или как они там называют метель." "Нужне вам слово, — сказал наш Персон, — это "*congére*", женского рода, я его знаю от матери."

"А, тогда это по-русски "сугроб", — сказала Арманда и сухо добавила: "Вот только снега там в августе будет не густо."

Джулия рассмеялась. Джулия выглядела счастливой и поздоровевшей. Джулия еще похорошела в сравнении с тем, какой она была два года назад. Будет ли она теперь сниться мне с этими новыми бровями, с новыми длинным волосами? Как быстро перенимают сновидения новую моду? Или ближайший сон еще сохранит ее прежнюю стрижку японской куколки?

"Давайте я вам что-нибудь закажу", — сказала Арманда Перси, не сделав, однако, приглашающего жеста, обыкновенно сопровождающего эти слова.

Перси решил, что ему не помешает чашка горячего шоколада. Опасное обаяние прилюдной встречи с прежней любовью! Конечно, Арманде бояться нечего. Она-то совсем из другого разряда, она вне конкуренции. Хью вспомнилась знаменитая повесть R. "Три времени".

"У нас что-нибудь еще осталось невыясненным, Арманда, или мы все уже обсудили?"

"Да уж два часа только этим и занимаемся", – с некоторым раздражением обронила Арманда, – не сознавая, возможно, что бояться ей нечего. Ее обаяние было совершенно иного, чисто интеллектуального или художественного толка, – это хорошо показано в "Трех временах": светский господин в синем, как ночь, смокинге ужинает на залитой светом веранде с тремя декольтированными красавицами, Алисой, Беатой и Верой, никогда до того друг дружку не знавшими. А. – его прежняя любовь, Б. – теперешняя любовница, В. – будущая жена. Он пожалел, что не стал пить, как Арманда и Джулия, кофе. Шоколад оказался непотребным. Вам подают чашку горячего молока. Отдельно вы получаете к ней толику сахара и подобие щегольского конвертика. Отрываете у конвертика верх – нюю кромку. Высыпаете находящуюся внутри бежеватую пыль в безжалостно обезжиренное молоко. Делаете глоток – и поспешно добавляете сахар. Но никакому сахару не по силам улучшить этот пресный, грустный, нечестный вкус.

Арманда, наблюдавшая за различными фазами его изумления и неверия, улыбнулась и сказала:

"Теперь вам известно, что понимают в Швейцарии под "горячим шоколадом". Мама, – продолжала она, обращаясь к Джулии (которая с разоблачительным *sans-gêne*[25] Прошедшего Времени, хотя вообще-то она уже похвалила себя за скромную сдержанность, потянулась ложечкой к чашке Хью и отобрала пробу), – мама просто разревелась, когда ей впервые подали эту бурду, потому что питала нежнейшие воспоминания о шоколаде своего шоколадного детства."

"Жуткая дрянь, – согласилась Джулия, облизывая полные бледные губы, – но по мне все же лучше нашего американского варева."

"Это потому, что ты самое непатриотичное создание в мире", – сказала Арманда.

Прошлое Время чарует своей сокровенностью. Зная Джулию, он был совершенно уверен, что она не стала бы рассказывать случайной подружке об их романе – одном мелком глоточке среди многих дюжин глотков. Так в этот драгоценный и хрупкий миг Джулия и он (иначе – Алиса с рассказчиком) скрепили договор о прошлом, неосязаемый пакт, направленный против реальности, представленной шумным углом улицы с шелестящими мимо машинами, деревьями и чужими людьми. Б. этой тройцы изображал Бойкий Витт, а основным чужаком, – что вызывало совсем иное волнение, – была его завтрашняя любовь, Арманда. Арманда же знала о будущем (конечно, известном автору в каждой детали) не больше, чем о прошлом, которое Хью вновь смаковал заодно с молоком, припорошенным бурой пылью. Хью, сентиментальный простак и в общем-то персонаж не из лучших (лучшие выше этого, а он был просто довольно славный), сожалел, что сцена не сопровождается музыкой, что никакой румынский скрипач не пронимает сердца двух, сплетенных на манер монограммы существ. Даже громкоигратель в кафе не повторял механически "Очарования" (вальса). И все же какое-то ритмическое подспорье имелось, его создавали голоса пешеходов, перезвон посуды, горный ветер в маститой массе углового каштана.

Вот они и расходятся. Арманда напомнила ему о завтрашней прогулке. Джулия, пожимая руку, попросила молиться за нее, когда она будет произносить перед тем очень пылким, очень известным поэтом русское *je t'aime*[26], которое звучит по-английски как (полоща этой фразой горло) "yellow blue tibia"[27] (изжелта-синяя берцовая кость). Расстались. Девушки уселись в изящный автомобильчик Джулии. Персон направился было к отелю, но запнулся, выругался и вернулся за свертком в кафе.

14

Пятница, утро. Торопливая кока. Отрыжка. Быстрое бритье. Он надел свое обычное платье, добавив для стиля свитер. Последняя встреча с зеркалом. Выдернул черный волос из красной ноздри.

Первая горесть этого дня поджидала его с седьмым ударом часов в условленном месте встречи (площадь у почты), где он обнаружил ее в обществе трех атлетов – Джека, Джейка и Жака, чьи ухмыляющиеся медные физиономии он уже видел на одном из последних в четвертом альбоме снимков. Заметив, как обиженно заходило его адамово яблоко, Арманда весело предположила, что он может быть еще и не захочет связываться с ними, "потому что мы собираемся пешком добраться до единственного работающего летом подъемника, а это для непривычного человека целое восхождение". Белозубый Жак, приобняв разбитную девицу, доверительно сообщил, что *monsieur* стоило бы надеть башмаки покрепче, но Хью отверг совет, заявив, что в Штатах принято надевать в поход первую попавшуюся пару ношенных туфель, случается что и теннисных. "Мы надеемся, – сказала Арманда, – что сможем уговорить вас взять несколько лыжных уроков, мы держим все снаряжение наверху, у тамошнего управителя, он наверняка подыщет что-нибудь и для вас. Пяток занятий – и вы уже будете поворачивать на полном ходу. Правда, Перси? И еще я думаю вам понадобится парка. Здесь-то лето, но это две тысячи футов, а выше девяти условия почти что полярные." "Малышка права", – заявил Жак, в притворном восторге хлопнув ее по плечу. "Тут минут сорок медленным ходом, – сказал один из близнецов. – Отличная разминка перед склоном."

Вскоре выяснилось, что Хью не способен, двигаясь с ними вровень, достичь четырехтысячной отметки, на которой – строго к северу от Витта – их ожидала гондола подъемника. Чаемая "прогулка" обернулась мучительным маршем, худшим, чем все, испытанное им в пору школьных пикников в Вермонте или Нью-Хемпшире. Тропу, состоявшую из очень крутых подъемов, очень скользких спусков и новых исполинских взлетов по скату новой горы, сплошь покрывали камни, канавы и старые корни. Жалкий и жаркий Хью с трудом держался за светлым затылком Арманды, легко поспешавшей вослед легконогому Жаку. Арьергард составляли близнецы-англичане. Быть может, шагали они все немного помедленнее, Хью и управился бы с восхождением – не таким уж и сложным, – но его

бессердечные и бездушные спутники передвигались немилосердным махом, чуть ли не вскачь одолевая подъемы и резво соскальзывая по откосам, с которыми Хью еле-еле справлялся, топыря руки в позе униженного просителя. От предложенного посоха он отказался и наконец, после двадцатиминутных мучений взмолился о небольшой передышке. В довершение обид не Арманда оставалась с ним, пока он сидел, свеся голову и отдуваясь, с жемчужиной пота, болтавшейся на кончике носа, – а Джек и Джейк. Близнецы оказались неразговорчивы и только обменивались безмолвными взглядами, пока стояли, уперев руки в бока, чуть выше него на тропе. Он почувствовал, как тает их расположение, и попросил их продолжить путь, пообещав скоро двинуться следом. Дождавшись, пока они отойдут, он заковылял обратно в деревню. В том месте, где сходились мысками два леса, он еще раз присел отдохнуть, на этот раз на скамейку над открытым обрывом, – с нее, слепой, но старательной, открывался замечательный вид. Сидя на скамье и куря, он вдруг увидал своих спутников высоко-высоко над собою, синий, серый, розовый, красная, они махали ему с утеса. Он помахал в ответ и возобновил угрюмое отступление.

Однако сдаваться Хью Персон не пожелал. Назавтра он в мощных ботинках, при альпенштоке, жуя резинку, вновь отправился с ними. Он попросил разрешения двигаться с той скоростью, какую выберет сам, чтобы никто его не дожидался, – и достиг бы подъемника, если б не сбился с пути и не закончил его на заросшей ежевикой пали, в которую уперлась просека. Еще одна попытка – дня через два – оказалась гораздо успешней. Он почти достигнул границы леса, но тут испортилась погода, его окутал мокрый туман, и он два часа одиноко стучал зубами в вонючем коровнике, дожидаясь, когда сквозь пряди тумана снова проглянет солнце.

В следующий раз он подрядился нести за Армандой пару только что купленных лыж, – диковатого вида по-лягушачьи зеленых штуквин, сделанных из металла и фибергласа. Мудреные их крепления казались кузенами ортопедических приспособлений, призванных помогать калекам передвигаться. Ему разрешили взвалить драгоценные лыжи на плечо, и поначалу они казались волшебным легкими, но скоро стали тяжелыми, словно длинные бруски малахита, и погодя он уже ковылял за Армандой, как клоун, помогающий менять снаряжение на цирковой арене. Как только он присел отдохнуть, ношу у него отобрали, предложив взамен бумажный пакет (с четверкой мелких апельсинов), который он оттолкнул не глядя.

Наш Персон был упрям и к тому же чудовищно влюблен. Казалось, некий сказочный элемент пропитал готическим розовым маслом все его попытки взобраться на зубчатые стены твердыни ее Дракона. Через неделю, он все же их одолел и в дальнейшем был уже меньшей обузой.

Сидя на солнечной террасе "Café du Glacier" чуть ниже "Хижины Дракониты" и потягивая ром, он не без самодовольства и воодушевления, порождаемых смесью вина и горного воздуха, обозревал лыжный склон (волшебное зрелище после такого обилия воды и спутанных трав!); вглядываясь в глазурь верхнего участка трассы, в синюю елочку лыжных следов под ним, в разномастные фигурки, как бы разбросанные вольной кистью фламандского мастера по сияющей белизне, Хью говорил себе, что из этого вышла бы превосходная обложка для книги "Кристи и прочие девочки" – автобиографии великого лыжника (прошедшей в издательстве через множество рук, основательно ее переделавших и приукрасивших) – типоскрипт ее он совсем недавно готовил к набору и, помнится, выставлял вопросительные закорючки против терминов вроде "годиллы" и "ведельн" (лат.?). Приятно было смотреть по-над третьей порцией выпивки на гладко сплывающих вниз красочных человечков, теряющих там лыжу, тут палку или совершающих победный вираж в веере серебряной пыли. Хью Персон, уже перешедший на вишневую водку, раздумывал, сумеет ли он принудить себя последовать ее совету ("такой славный, большой, сутулый янки, такой весь спортивный и не стоит на лыжах!") и оказаться на месте того или этого удальца, летящего стильно сгорбясь, вниз, или он обречен раз за разом валиться и замирать, подобно нескладному новичку, распростершемуся на спине в безнадежном, но благодушном покое.

Он так ни разу и не смог отыскать ослепленными, слезящимися глазами силуэт Арманды среди прочих лыжников. Правда, однажды ему показалось, что он поймал ее, летящую и мерцающую, в красной анорাকে, с непокрытой головой, мучительно грациозную, вон там, там и вот уже здесь, перепорхнула пригорок, близится, близится, подобралась, притиснув палки к бокам, и вдруг обернулась незнакомкой в пучеглазых очках.

Наконец она, в лоснистом зеленом нейлоне, с лыжами в руках, но еще обутая в страховидные сапоги, появилась с другого конца террасы. Он потратил достаточно времени, изучая в швейцарских магазинах лыжное снаряжение, и знал, что обувную кожу ныне заменила пластмасса, а шнуровку – крепкие скрепы. "Вы похожи на первую женщину на Луне", – сказал он, указывая на сапоги, и не будь они так тесно подогнаны по ноге, она пошевелила бы внутри пальцами, как обыкновенно делают женщины, когда кто-то с похвалой отзывается об их обуви (ужимка пальцев взамен улыбки).

"Послушайте, – сказала она, разглядывая свои "Мондштейновы сексуальные" (их несусветное торговое имя), – я оставлю здесь лыжи, переобуюсь, и мы вернемся с вами в Витт а deux[28]. С Жаком я разругалась, он остался со своими дорогими друзьями. Слава Богу, все кончено."

Сидя лицом к нему в небесной повозке, она изложила сравнительно деликатную версию того, что ей еще предстояло пересказать ему с безобразно живыми подробностями. Жак потребовал ее присутствия на онанистических сеансах, которые он проводил с близнецами Блейками в их шале. Однажды он уже заставил Джека показать ей свои причиндалы, но она притопнула и велела им вести себя попристойнее. Теперь Жак

предъявил ультиматум, – либо она участвует в их омерзительных играх, либо он больше ей не любовник. Она готова быть сверхсовременной, своей, сексуальной, но это унижительно, пошло и старо, как Древняя Греция.

Гондола скользила бы вечно в синем мареве, уместном в раю, если бы дюжий слуга не осадил ее на повороте к подъему. Они вышли. В сарае, где механизм исполнял свой скромный, нескончаемый долг, из земли пробивался ключ. С чопорным "извините" Арманда на краткий срок удалась. Снаружи среди одуванчиков стояли коровы, и радиомызыка неслась из ближней buvette[29].

С робким трепетом юной любви Хью гадал, осмелится ли он поцеловать ее, если выпадет вдруг подходящая пауза во время спуска по извилистой стезе. Пожалуй, осмелится, когда они доберутся до рододендронов и может быть остановятся – она, чтобы сбросить парку, он, чтобы вытряхнуть камушек из правого башмака. Рододендроны и можжевельник уступили пространство ольхе, и знакомый голос отчаяния уже начал склонять его отложить на потом и камушек, и летучий поцелуй. Они вошли в еловый бор, и тут она встала, осмотрелась вокруг и сказала (как-то мельком, будто предлагая грибов поискать или набрать малины):

"А теперь кое-кто займется любовью. Вон за теми деревьями я знаю хорошее мшистое место, там никто нас не потревожит, если ты поторопишься."

Место метила кожа апельсинов. Он попытался обнять Арманду – для пригласительной ласки, в которой нуждалась его нервная плоть ("поторопишься" было ошибкой), – но она, по-рыбьи вильнув, ускользнула и присела в чернику, снимая ботинки и брюки. Еще пуще расхолодила его рубчатая ткань черных, плотной вязки колготок, оказавшихся на ней под лыжными штанами. Их она согласилась стянуть не ниже, чем требовала необходимость. Ни поцеловать, ни погладить ее по бедрам она не позволила.

"Ладно, не повезло", – сказала она, наконец, но стоило ей изогнуться под ним в попытке выпростать бедра, как к нему мгновенно вернулась и сила, и способность выполнить то, что от него ожидалось.

"А теперь кой-кому пора домой", – без промежутка сообщила она всегдашним ее безразличным тоном, и оба в молчании продолжили торопливый спуск.

За новым поворотом тропы внизу открылся первый из Виттовых садов, дальше виднелся проблеск ручья, лесной склад, покосы, бурые дачи.

"Ненавижу Витт, – сказал Хью. – Ненавижу жизнь. Ненавижу себя. И эту сволочную старую скамью ненавижу." – Она остановилась, взглянуть, куда он тычет гневным перстом, и он обнял ее. Поначалу она уклонялась от его губ, но он отчаянно настаивал, и внезапно она покорилась, и случилось малое чудо. Дрожь нежности прошла по ее чертам, как ветер проносится рябью по отражению в воде. Ресницы ее намокли, плечи, сжатые им, затряслись. Этому мигу ласковой муки не

суждено было повториться, – а вернее, ему не достало времени, чтобы вернуться назад по завершении присущего его ритму цикла; но то недолгое содрогание, в котором она растаяла вместе с солнцем, вишнями, с прощенным пейзажем, установило тон его нового бытия с царившим в нем ощущением "все-идет-хорошо", которого не колебали ни самые дурные ее настроения, ни самые дурацкие причуды, ни самые досадные притязания. Этот поцелуй, а не то, что его предварило, и стал подлинной их помолвкой.

Без единого слова, она разомкнула его объятия. Длинная вереница мальчиков, замыкаемая школьным учителем, поднималась к ним по крутой тропе. Один из мальчишек вскарабкался на ближайший круглый валун и с веселым воплем сиганул вниз. "Grüss Gott"[30], – сказал их учитель, минуя Арманду и Хью. "Приветик", – откликнулся Хью. "Он решит, что ты спятил", – сказала Арманда.

Буковой рощей, и перейдя потом реку они добрались до околицы Витта, прошли по грязному кособоку – коротким путем, между недостроенных дач – и очутились у виллы "Настя". Анастасия Петровна хлопотала на кухне, расставляла по вазам цветы. "Мама, выйди, – прокричала Арманда. – Жениха привела."

16

В Витте имелся новенький теннисный корт. Однажды Арманда вызвала Хью на партию.

С самого детства с его ночными страхами сон составлял для нашего персонажа привычное затруднение. Затруднение было двояким. Порой приходилось часами уламывать черный автомат, вновь и вновь автоматически воскрешая некий действенный образ, – но то была лишь одна из докук. Другую представляло мнимо-безумное состояние, в которое погружал его сон, если, конечно, сон приходил. Никак не мог он поверить, что приличных людей посещают нелепые и непристойные ночные кошмары, корежившие его по ночам и во весь остальной день отзывавшиеся гудом в ушах. Ни редкие рассказы друзей о дурных сновидениях, ни истории болезней в фрейдových сонниках с их смехотворными разъяснениями и близко не походили на изощренные гнусности его почти еженощных переживаний.

В отрочестве он пытался сладить с первой бедой посредством хитроумной методики, помогавшей лучше всяких пилуль (из коих слабые насылали сон слишком краткий, а сильные усугубляли живость монструозных видений). Открытый им способ состоял в том, чтобы с метрономической точностью мысленно переиграть все удары. Единственной игрой, в какую он играл в юности и в какую еще сохранял в сорок лет способность играть, был теннис. Играл он не просто сносно, с некоторой лихостью стиля (перенятой многие годы

назад у удалого кузена, тренировавшего мальчиков в той новоанглийской школе, где директорствовал отец), он еще изобрел удар, которого ни Гай, ни Гаев зять, профессионал даже лучший, не умели ни дать, ни взять. Было в нем нечто от искусства для искусства, ибо ничего общего с низкими, опасными мячами, для которых потребна идеально уравновешенная постановка тела (в спешке не легко достижимая), он не имел и сам по себе никогда не позволял Хью выиграть матч. "Удар Персона" исполнялся напряженной рукой и сочетал в себе сильный драйв с льнущей подрезкой, как бы влекущейся за мячом от его столкновения с ракетой и до самого завершения удара. Причем столкновению (в чем и состояла главная прелесть) полагалось происходить на дальнем краю ракетной сетки, а исполнитель удара находился достаточно далеко от точки отскока и как бы дотягивался до мяча. Опять же и отскок требовался довольно высокий, чтобы верхушка ракеты как должно, без тени "подкрутки", приникала к мячу, отсылая "подклеенный" мяч по тугой траектории. Если "прилипание" оказывалось недостаточно долгим или начиналось слишком близко, в середине ракеты, результатом была рядовая, вялая, медленно клонящаяся "галоша", которую, конечно, вернуть ничего не стоило; но при точном исполнении удар резким щелчком отзывался в предплечьи, и мяч, свистя, соскальзывал по строго выверенной прямой в точку у задней линии. Ударясь о грунт, он словно бы приклеивался к нему и казалось, что так же, как к струнам ракеты в миг нанесения удара. Вполне сохраняя скорость, мяч едва взлетал над землей; в сущности, Персон верил, что упражняясь долго и самоотверженно, можно добиться, чтобы мяч вообще не отскакивал, а стремглав катил по поверхности корта. Никто не способен вернуть мяч, если тот не отскакивает, и конечно, в ближайшем будущем такие удары запрета, как недопустимую порчу спорта. Но даже в грубой версии своего создателя удар порой приносил сладкое удовлетворение. Любая попытка вернуть его неизменноставляла противника забавным мазилкой, потому что ни подцепить низко несущийся мяч, ни тем более толком ударить по нему было невозможно. Гай и еще один Гай недоумевали и злились всякий раз, как Хью исхитрялся выполнить свой "прилипчивый драйв", — жаль только, удавалось это нечасто. Он утешался тем, что не открывал озадаченным профессионалам, пытавшимся повторить этот удар (и добивавшимся всего лишь вялой подкрутки), что весь фокус не в "подрезке", и даже не в прилипании, а в том месте ракеты, на котором оно происходит, — в верху ракетных струн, — да еще в напряге достигающего движения руки. Многие годы Хью мысленно лелеял свой драйв, даже после того, как возможность прибегнуть к нему свелась к паре ударов в бестолковой игре. (В сущности, последнее исполнение состоялось тем днем в Витте, когда он играл с Армандой, после чего она удалилась с корта и больше ее туда заманить не удалось.) По большей же части он применял его в качестве средства самоусыпления. В ту пору, еще до супружеской спальни, он значительно усовершенствовал свой удар, — к примеру, убыстрив подготовку к нему (для отражения резкой подачи) и научившись воспроизводить его зеркальное, левостороннее отображение (взамен дурацкого обегания мяча). Стоило только найти на мягкой прохладной подушке место, удобное для щеки, как знакомый твердый трепет уже бежал по руке, и он начинал прохлопывать себе путь сквозь игры — одну за одной. Имелись и дополнительные приправы: он то втолковывал сонному репортеру: "Подрезать, не повреждая", то завоевывал в благодатном тумане Кубок Дэвиса, до краев наполненный

маками.

Почему, женившись на Арманде, он отставил это снотворное снадобье? Не потому ведь, что она порицала его любимый удар как оскорбительное занудство? Была ли тому виной новизна общей постели и близость иного мозга, гудящего по соседству с его, разрушая укромность выполнения усыпительной, — и пожалуй, довольно детской — процедуры? Возможно. Как бы там ни было, он отступился, уговорив себя, что две совершенно бессонных ночи в неделю составляют для него безвредную норму, а иными ночами довольствовался обзором событий дня (тоже на свой манер автомата), забот и горестей заводной жизни, украшенной там и сям павлиньим глазком того, что у тюремных психиатров называлось "иметь секс".

Так он говорит, что помимо трудностей засыпания его еще донимали сны?

Да, вот именно донимали, очень точное слово! Он мог потягаться с первейшим безумцем по части повторения определенных кошмарных ходов. Иногда он сразу же различал первый грубый набросок, и с ним варианты, вразрядку идущие один за другим, они менялись в мелких деталях, подчищая сюжет, добавляя новые частности, погнуснее, но всякий раз переиначивая очередной вариант все той же, иначе не существующей повести. Ну, хорошо, послушаем о частностях погнуснее. Как вам будет угодно. В особенности один эротический сон повторялся в течение нескольких лет с упорством кретина — до и после смерти Арманды. В этом сне, от которого психиатр (чудачливый отпрыск цыганки и неизвестного солдата) отмахнулся, сочтя его "слишком прямолинейным", ему подносили огромное блюдо со спящей красавицей под цветочным гарниром и подушку с набором орудий. Последние рознились шириной и длиной, а количество их и подбор ото сна ко сну изменялись. Они лежали опрятным тесным рядом: один, в ярд длиной, был изготовлен из вулканизированной резины и венчался фиолетовой головкой, за ним шел надраенный штырь, короткий и толстый, за этим — штопоровидная штука потоньше с кольцами мокрого мяса и сквозистого сала, — и так далее, примеры выбраны наугад. Вообще-то и смысла не было выбирать — коралл, бронзу или мучительный каучук — потому что за какой инструмент ни возьмись, он тут же менял размеры и форму, не удавалось и толком приладить его к своей анатомии, он либо отламывался в самой точке воспламенения, либо продольно трескался между ног или костей более-менее раскромсанной красоти. Он желал бы с наиполнейшим, неистовым, анти-фрейдovým пылом подчеркнуть следующее: эти онейрические пытки никак не соприкасались, ни впрямую, ни в "символическом" смысле, — ни с чем, испытанным им в сознательной жизни. Эротическая тема оставалась лишь темой, одной среди многих, как "Мальчик для развлечений" остался лишь чужеродной причудой в ряду сочинений серьезного, слишком серьезного автора, осмеянного в недавнем романе.

В другом не менее зловещем ночном испытании он старался остановить или отвести струйку то ли зерна, то ли мелких камушков, сочившуюся из прорехи в ткани пространства, но ему во всех мыслимых смыслах мешало какое-то паутиноподобное, ветошное, волокнистое крошево, какие-то кучи и котлованы, ломкий хлам, валкие великаны. В конце

концов он утыкался в массы мусора — и это была смерть. Не такими пугающими, но может быть даже в большей степени опасными для рассудка были "обвальные" сны на краю пробуждения, обращающего их образы в движение словесных осыпей в долинах Сона и Стоуна, чьи округлые серые скалы, *Roches étonn ées* [31], названы так по причине их как бы изумленной, осклабленной поверхности, меченной темными "зенками" (*éscarquillages*). Грезящий человек являет нам идиота, не вполне лишенного звериного хитроумия; роковой изъян его разума смахивает на слитный лепет скороговорщиков: "во рискует сукин кот!".

Очень жаль, сказали ему, что он не повидал своего аналитика, едва усилились эти кошмары. Он ответил, что аналитика не держал. Доктор, проявляя большое терпение, пояснил, что применил местоимение "свой" не в притязательном смысле, а в бытовом, ну, как в рекламе: "Требуите у своего бакалейщика". А Арманда когда-нибудь анализировалась? Если речь идет о миссис Персон, а не о кошке или ребенке, ответом будет "нет". Она, кажется, еще в юности увлеклась необуддизмом или чем-то похожим, и когда в Америке новые друзья уговаривали ее, как вы выражаетесь, проанализироваться, она отвечала, что, пожалуй, попробует, но сначала нужно закончить восточные студии.

Выяснилось, что по имени ее называли единственно для создания непринужденной обстановки. Это всегда так делается. Да вот не далее как вчера один заключенный совсем перестал смущаться, едва лишь ему предложили: Скажи-ка дяде, чего тебе снится, а то из тебя прямо дым идет. Все-таки кое-что осталось недостаточно ясным, а именно, — не приходилось ли Хью, вернее, мистеру Персону, переживать во сне "позыв к разрушению"? Возможно, сам термин недостаточно ясен. Ну, скажем, скульптор, он имеет возможность сублимировать этот позыв, налетая с молотком и зубилом на неодушевленный предмет. Полезнейшим средством канализации такого позыва является и хирургия: один уважаемый, хотя и не всегда успешный хирург признался в личной беседе, как трудно бывает ему удержаться при операции от того, чтобы не отхватить всякий орган, какой только лезет в глаза. В каждом с детства таятся скрытые напряжения. И Хью нечего их стыдиться. Ведь в сущности и половая тяга зарождается при созревании как подмена тяги к убийству, нормально реализуемой в сновидениях; а бессонница — это просто боязнь осознания во сне подсознательной потребности в сексе и насилии. У взрослых мужчин порядка восьмидесяти процентов всех сновидений являются сексуальными. Вы ознакомьтесь с результатами Клариссы Дарк, — она собственноручно исследовала около двухсот здоровых заключенных, — конечно, срока им скостили на число ночей, проведенных в спальнях Исследовательского Центра. Так вот, у ста семидесяти восьми из них наблюдалась мощная эрекция в той стадии сна, которую мы называем ГАРЕМ ("Глаза Активно Рыскают, Ерзают, Мечутся"), для этой стадии характерны видения, вызывающие резкое вращение глаз, человек как бы сам себя ест глазами. А кстати, когда мистер Персон впервые почувствовал ненависть к миссис Персон? Без ответа. Может быть, ненависть с самой первой минуты входила в состав его чувства к ней? Без ответа. Ему не случалось покупать для нее свитеров с высоким сборчатым воротом? Без ответа. И он не сердился, когда она говорила, что свитер слишком давит горло?

"Меня вырвет, — сказал Хью, — если вы будете приставать ко мне с этой омерзительной белибердой."

17

Порассуждаем теперь о любви.

Какие могучие слова, какое оружие хранится в горах, в укромных углах, в особых тайниках гранитного сердца, за стальными плитами, выкрашенными под масть окрестным крапчатым скалам! Однако Хью Персон, когда он в недолгие дни ухаживания и супружества покушался высказать свою любовь, не знал, где найти слова, которые ее убедят, которые проймут ее и застыт яркой слезой жесткий взор ее темных глаз! И напротив, что-то произнесенное мимоходом, не подразумевавшее ни поэзии, ни печали, какая-нибудь пустяковая фраза вызвала внезапно истерически счастливый отклик в суховатой душе этой, в сущности говоря, несчастливой женщины. Сознательные попытки проваливались. Если он, как бывало порой в самый sereneйший час, откладывал чтение, чтобы без малейших любовных помыслов войти в ее комнату и, подвывая от обожания, подползти к ней на четвереньках, подобно исступленному, доселе еще неопisanному недревесному ленивцу, холодная Арманда предлагала ему подняться и перестать валять дурака. Самые пылкие прозвища, какие только ему удавалось придумать, — моя принцесса, любовь моя, мой ангел, моя зверушка, мой упоительный зверь, — попросту выводили ее из себя. "Ну почему, — осведомлялась она, — почему ты не можешь разговаривать со мной нормально, по-человечески, как джентльмен с дамой, почему тебе обязательно нужно разыгрывать шута горохового, ты что, не способен быть простым, серьезным, понятным?" Да ведь в любви, отвечал он ей, есть все, что угодно, кроме понятности, ведь нормальная жизнь отдает шутством, а простой человек при слове "любовь" только скалится. Он норовил поцеловать полу ее платья, кунуть брючную складку или подъем, или палец ее гневливой стопы, — и пока он пресмыкался, немзыкально мыча, так сказать, самому себе на ухо слезные, неземные, редкостные, рядовые слова, незначительные и всезнающие, простое изъяснение любви становилось сродни ублюдочному подражанию птичьей повадке, фарсом, который мужчина разыгрывает в одиночку, без единой женщины вблизи, — длинная шея вытягивается, изгибается, падает клюв, и шея распрямляется снова. В конечном итоге ему становилось стыдно, но остановиться он не умел, а она не умела понять его, потому что ни разу не нашел он в эти минуты нужного слова, нужной ниточки водорослей.

Он любил ее, как ни была она для любви непригодна. Арманда обладала множеством неприятных, хоть и не обязательно редкостных черт, без изъятия почитавшихся им за дурацкие ключи к умной загадке. Свою мать она прямо в глаза называла скотиной, не сознавая, конечно, что, отправляясь с Хью в Нью-Йорк и на гибель, никогда больше матери не

увидит. Она любила устраивать дотошно продуманные приемы, и как бы давно ни состоялся тот или иной замечательный вечер (десять месяцев назад, пятнадцать или раньше, еще до замужества, в материнском доме в Брюсселе или Витте), каждый участник и каждая частность навек застывали в гудящей стуже ее опрятного разума. В воспоминании эти вечера представлялись ей звездами на волнующемся занавесе прошлого, а гости — оконечностями ее собственной личности: уязвимыми точками, к которым следует впредь относиться с ностальгическим уважением. Если Джулии или Джун случалось к слову обмолвиться, что они никогда не встречали художественного критика К. (кузена покойного Шарля Камар), при том что и Джун, и Джулия присутствовали на приеме, как то было помечено в голове у Арманды, она не на шутку злилась и с надменной неторопливостью отчитывала их за ошибку, да еще прибавляла, изгибаясь, словно танец живота исполняла: "Вы, значит, забыли и бутерброды от "Папы Игоря" (какой-то особенный магазин), которыми так объедались". За всю свою жизнь Хью не встречал такого неровного норова, такого смертельного самолюбия, настолько замкнутого на себе существа. Джулия, катавшаяся с ней на коньках и на лыжах, считала Арманду милочкой, но в большинстве женщины ее порицали, и болтая по телефону, передразнивали ее довольно жалостные приемы наскока и отступления. Стоило кому-то начать: "Как раз перед тем, как я сломал ногу...", и она уже победно отзванивала: "А я в детстве сломала обе!" По какой-то неясной причине она усвоила тон иронический и в общем неласковый, обращаясь к мужу на людях.

Странные ее посещали причуды. В пору их медового месяца в Стрезе, последней тамошней ночью (нью-йоркский оффис требовал его возвращения), она решила, что последние ночевки в гостиницах, не оборудованных пожарными лестницами, статистически опаснее прочих, а их отель действительно выглядел чрезвычайно горючим, на грузный старинный покррой. Неизвестно по каким причинам, телевизионные режиссеры считают, что нет ничего фотогеничнее и вообще занимательнее, чем хороший пожар. Арманду, смотревшую итальянские новости, встревожило, если она не прикинулась (она любила поинтересничать), одно такое несчастье, появившееся на местном экране, — язычки пламени, словно слаломные флажки, и язычища, как внезапные демоны, скрещение изогнутых водных струй, как будто бьющих из вычурных фонтанов, и клеенчатый посверк бесстрашных мужчин, направляющих разнообразно запутанные действия на фоне распада и дыма. Той ночью в Стрезе она настояла, чтобы они отрепетировали (он в спальных трусах, она в пижаме "Дзюдо-Юдо") акробатический побег в грозном мраке, спустившись по прихотливо украшенному фасаду отеля с их четвертого этажа на второй, а оттуда на крышу галереи, окруженной протестующе машущими деревьями. Хью понапрасну ее урезонивал. Воодушевленная девушка заявила, что она, будучи опытным скалолазом, уверена в осуществимости этой затеи, нужно только воспользоваться как приступками разнообразными украшениями, обильными выступлениями и металлической оградой балкончиков, разбросанных там и сям в помощь аккуратному нисходителю. Она велела Хью следовать за ней, освещая ей сверху путь электрическим фонарем. Предполагалось также, что он будет держаться достаточно близко, чтобы помогать при нужде, держа ее на весу и тем увеличивая в отвесной протяженности, пока она станет нашаривать голый ступней очередную ступеньку.

Хью при немалой мощи передних конечностей был антропоидом на редкость неловким и основательно испортил все предприятие. Он застрял на карнизе прямо под их балконом. Фонарик, бестолково обрыскав малый участок фасада, выскользнул из его лапы. Свесясь со своего насеста, Хью кричал, умоляя ее вернуться. Ставень хлопнул у него под ногой. Хью ухитрился вскарабкаться назад на балкон, все еще выкликая ее, хоть и уверился уже, что она погибла. Впрочем, она в конце концов отыскалась в одном из номеров третьего этажа – мирно курящая, завернутая в одеяло, она лежала в постели незнакомого господина, а тот сидел у кровати в кресле и читал журнал.

Любовные ее странности озадачивали и тревожили Хью. Он мирился с ними во время свадебного путешествия. После его возвращения со своей непростой новобрачной в нью-йоркскую квартиру причуды эти обратились в привычку. Арманда постановила, что они будут систематически заниматься любовью в гостиной, во время вечернего чая – как бы на воображаемой сцене, непрестанно и непринужденно беседуя о том о сем, причем обоим исполнителям долженствует быть пристойно одетыми: на нем его лучший деловой костюм и галстук в горошек, на ней – скромное черное платье, застегнутое на горле. В виде уступки природе дозволялось расстегивать, а то и стягивать кое-что из исподнего, но совсем, совсем неприметно, ни на миг не прерывая изысканной беседы: нетерпеливость объявлялась неподобающей, показной, безобразной. Газета или книга, прихваченная с кофейного столика, помогала прикрыть те из приготовлений, без которых он, бедный Хью, никак уж не мог обойтись, и горе ему, если он вдруг поморщится или замешкается во время совкупления; но гораздо сильнее ужасной возни с подштанниками в путанице его ущемленного лона или скрипучего соприкасания с ее гладкими, словно латы, чулками удручала его необходимость поддерживать пустой разговор – о знакомых, о политике, о знаках зодиака или о слугах, между тем без запретной зримой поспешности подвигая тайком томительные труды к конвульсивному концу в полусидячем сплетении на неудобном диванчике. Посредственная потенция Хью едва ли пережила бы эти мучения, если б Арманде удавалось в большей, чем она полагала, степени скрывать от него возбуждение, вызываемое контрастом между фактическим и фиктивным, – контрастом, способным в конечном счете претендовать на артистическую утонченность, особенно если вспомнить кое-какие обычаи некоторых дальневосточных народов, только что не полоумных во многих иных отношениях. Но главным, что питало ее, было ни разу не обманувшее ожидание ослепляющего блаженства, понемногу сообщавшего нечто идиотическое ее милым чертам, как бы ни силилась она поддерживать поверхностную болтовню. В сущности, он предпочитал эти сцены в гостиной еще даже менее нормальной обстановке тех редких okazji, когда ее посещало желание, чтобы он обладал ею в спальне, надежно спрятанный под одеялом, пока она щебетала по телефону, обмениваясь сплетнями с приятельницей или дурача незнакомого мужчину. Способность нашего Персона со всем этим мириться, отыскивать разумные объяснения и так далее, усугубляет наше к нему теплое отношение, но порою, увы, провоцирует также прозрачный смешок. Он, например, объяснял себе ее нежелание обнажаться тем, что она стесняется своих крохотных выпяченных грудей и шрама на правом бедре, полученную при несчастливом падении с лыж. Глупенький Персон!

Сохраняла ли она верность ему в те месяцы их супружества, что протекли в непрочной, нестрогой, неумеренной Америке? В первую и последнюю их американскую зиму она несколько раз уезжала покататься на лыжах в Авал, Квебек, или в Шут, Колорадо. Оставаясь один, он запрещал себе думать о пустяковых прелюбодеяниях, когда, скажем, рука ее задерживается в руке какого-нибудь балбеса или когда тому вместе пожеланием доброй ночи даруется поцелуй. Даже помыслить о такой ерунде было для него так же мучительно, как вообразить похотливое соитие. Стальная дверь его души оставалась в ее отсутствие наглухо запертой, но стоило ей появиться – с сияющим загорелым лицом, с точеной, словно у стюардессы фигуркой в синем пальто с плоскими пуговками, яркими, как золотые жетоны, – что-то в нем призрачно растворялось, и дюжина гибких атлетов принималась, разбирая ее по статьям, роиться вокруг нее во всех мотелях его мозга, хотя на деле, по нашим сведениям, она за все три поездки вкусила полную близость от силы с дюжиной пробных любовников.

Никто, и менее всех ее мать, не мог постичь, чего ради Арманда выскочила за довольно бесцветного американца с не очень солидной работой, – но пора нам уже закончить наше рассуждение о любви.

18

Во вторую неделю февраля, примерно за месяц до того, как смерть их разлучила, Персоны на несколько дней слетали в Европу: Арманда чтобы навестить мать, умиравшую в бельгийской больнице (преданная дочь опоздала), а Хью – повидаться по поручению издательства с мистером R. и еще с одним американским писателем, также осевшим в Швейцарии.

Лил сильный дождь, когда такси высадило его перед стоявшим в горах над Версексом большим, старым и уродливым загородным домом R. Он прошел гравистой тропкой с дождевыми потоками, пузырящимися по обеим ее сторонам. Парадная дверь оказалась раскрытой, и притаптывая половик, он с веселым удивлением увидел Джулию Мур, стоявшую спиной к нему у телефонного столика в прихожей. Опять, как в прошлом, она носила прическу хорошенького пажа и ту же оранжевую блузу. Когда он, наконец, вытер ноги, она положила трубку и обернулась ничем непохожей девушкой.

"Простите, что заставила вас дожидаться, – сказала она, уставя на него пару смеющихся глаз. – Я заменяю мистера Тамворта, он отдыхает в Марокко."

Хью Персон прошел в библиотеку, уютно обставленную, но решительно старомодную и очень скудно освещенную, полную энциклопедий, справочников, указателей и авторских экземпляров произведений нашего автора во множестве изданий и переводов. Он присел в клубное кресло и вытащил из портфеля список вопросов, которые следовало обсудить.

Два главных были такие: как изменить некоторых слишком легко узнаваемых в рукописи "Фигуральностей" лиц и что делать с этим коммерчески невозможным заглавием.

Вышел R. Он не брился дня три или четыре и был облачен в смешной синий комбинезон, который находил очень удобным для рассовывания по нему орудий своего ремесла, как то – карандашей, шариковых ручек, трех пар очков, справочных карточек, крупных скрепок, круглых резинок и – невидимого – кинжала, который он после нескольких приветственных слов нацелил в нашего Персона.

"Могу повторить только то, – сказал он, падая в кресло, освобожденное Хью, и указывая ему на такое же насупротив, – что уже говорил, и не раз, но частенько: можно охолостить кота, но моих персонажей не выхолостишь. Что до заглавия, представляющего собой вполне добропорядочный синоним слова "метафора", то его из-под меня не выдрать и взбесившимся жеребцом. Мой врач присоветовал Тамворту запереть погреб, тот послушался и ключ куда-то засунул, а кузнец не берется подделывать его раньше, чем в понедельник, я же, знаешь ли, слишком горд, чтобы покупать в дрянные деревенские вина, поэтому могу предложить тебе только, – ты заранее замотал головой и ты чертовски прав, сынок, – консервную банку с абрикосовым соком. Теперь позволь мне сказать кое-что насчет заглавий и печатных клевет. Знаешь, от этого письма, которое вы мне прислали, у меня глаза из лба полезли. Меня обвиняют в том, что я копаюсь в пустяках, но и пустые личности в моих книгах неприкосновенны, если ты мне простишь такой каламбур."

И он принялся объяснять, что когда настоящий художник создает персонаж, беря за основу живого человека, то любая попытка переписать этот персонаж в целях его маскировки равносильна умерщвлению здравствующего прототипа, – это, знаешь, как протыкаешь булавкой глиняную куколку, и девушка по соседству валится замертво. Если композиция художественна, если в ней не одна вода, но присутствует и вино, тогда она неуязвима в одном отношении и страшно хрупка в другом. Хрупка, потому что когда пугливый редактор заставляет художника заменить "щуплый" на "пухлый" или "брюнет" на "блондин", он уродует и образ, и нишу, в которой тот установлен, и целую церковь вокруг; – а неуязвима по той причине, что как бы сильно изображение не менялось, прототип будет все равно узнаваем по очертаниям дырки, оставшейся в ткани рассказа. И помимо всего, этим бездельникам, в описании которых его обвиняют, слишком на все наплевать, чтобы они стали негодовать и кричать о своем присутствии в книге. На самом деле каждый из них скорее станет с наслаждением вслушиваться в пересуды по литературным салонам, делая, как говорят французы, знающее лицо.

Что до заглавия – "Фигуральности" – это совсем другая история. Читатель не сознает, что существует два типа заглавий. К одному относятся те, что находятся глупым автором или умным издателем уже после того, как книга написана. Это попросту бирка, прилепленная на книгу и прилепнутая кулаком. Большая часть худших наших бестселлеров носят заглавия именно этого рода. Но есть и иная разновидность: заглавие, которое просвечивает сквозь книгу наподобие

водяного знака, заглавие, которое рождается вместе с книгой, заглавие, с которым автор за годы накопления исписанных страниц свыкается до того, что оно проникает в состав каждой из них и всех сразу. Нет, с "Фигуральностями" мистер R. расстаться не может.

Хью несмело заметил, что ухо все норовит заменить "Фигуральности" на какое-нибудь "Фигу-в-рай-нести".

"Ухо невежи!", – рявкнул мистер R.

Припрыгала хорошенькая секретарша и объявила, что ему не следует ни волноваться, ни уставать. Великий человек с усилием встал и стоял, подергиваясь, ухмыляясь, протянув большую волосатую лапу.

"Ну что же, – произнес Хью, – разумеется, я расскажу Филу, насколько важными кажутся вам его замечания. До свидания, сэр, на той неделе вам доставят проект обложки."

"Пока до скорого", – сказал мистер R.

19

Мы снова в Нью-Йорке, это последний их вечер вместе.

Подав им прекрасный ужин (может быть несколько сытноватый, но не сверхизобильный, – ни он, ни она не любили слишком наедаться), полная Паулина, *femme de ménage*[32], чьи услуги они делили с бельгийцем-художником, жившим в пентхаузе прямо над их головами, перемыла посуду и в обычный свой срок (примерно, девять с четвертью) ушла. Поскольку она имела неприятное обыкновение на минутку присаживаться у телевизора, Арманда всегда дожидалась ее ухода, а там уже крутила его ручки в свое удовольствие. Вот и теперь она включила приемник, дала ему подышать с минуту, переключила канал, – и фыркнув от омерзения, выключила (ее приязни и неприязни по этой части не отличались особой последовательностью, она могла с пылким постоянством смотреть одну-две программы или напротив неделями не касаться ящика, словно бы казня волшебную выдумку за известный лишь ей проступок, – Хью предпочитал не вникать в ее темные распри с актерами и комментаторами). Она раскрыла книгу, но тут позвонила жена Фила, чтобы пригласить ее на завтрашнюю премьеру лесбийской драмы, исполняемой лесбийской же труппой. Их разговор занял двадцать пять минут, Арманда журчала доверительно и приглушенно, а Филлис голосила так, что Хью, за круглым столиком правивший стопку гранок, мог при желании слышать оба берега пустого потока. Взамен он довольствовался кратким отчетом, данным Армандой по возвращении на серого плюша диванчик при ложном камине. Часов около десяти на них как обычно обрушилась сверху череда раздирающих ухо скрежетов и содроганий: идиот-сосед отволакивал тяжеленный образчик неопишуемой

скульптуры ("Pauline anide" по каталогу) из середины студии в угол, занимаемый ею по ночам. Реакция Арманды была неизменной: смерив потолок разгневанным взглядом, она заметила, что соседи менее добродушные и сочувственные давно бы уже нажаловались кузену Фила (управлявшему этим доходным домом). Когда мир был восстановлен, она принялась отыскивать книгу, которую держала в руках перед телефонным звонком. Всякий раз, замечая в точной, трезвой, толковой Арманде красоту и беспомощность человеческой рассеянности, муж ее испытывал прилив особенной нежности, примирявший его с унынием и уродством того, что люди не очень счастливые называют "жизнью". В этот раз он нашел предмет ее трогательных поисков (в журнальной стойке у телефона), и вручая его, получил дозволение тронуть почтительными губами ее висок и прядь светлых волос. Затем он возвратился к вычитке "Фигуральностей", а она к книжке – французскому путеводителю, перечислявшему множество отменных ресторанов, помеченных в перечне вилок и звездочкой, но совсем немного "приятных, тихих, удобно расположенных гостиниц" с тремя и более башенками, а то и с красной певчей птичкой на ветке.

"Занятое совпадение, – заметил Хью. – Один его персонаж в довольно похабном пассаже, – кстати, как правильно – "Савой" или "Савойя"?"

"Что за совпадение?"

"Да. Один его персонаж, просматривая расписание поездов, говорит: как много миль отделяют Кондом в Гаскони от Письки в Савоие."

"'Савой' – это гостиница, – сказала Арманда и двукратно зевнула, сначала не размыкая губ, потом открыто. – Не знаю, от чего я так устала, – прибавила она, – но все эти зевки только отваживают сон. Пожалуй, испытаю-ка я сегодня новые таблетки."

"А ты попробуй представить, что съезжаешь на лыжах по очень крутому и ровному склону. Я в юности играл мысленно в теннис – и часто помогало, особенно с новыми и очень белыми мячами."

С минуту она посидела, задумавшись, потом заложила красной ленточкой книгу и пошла за стаканом на кухню.

Хью любил перечитывать гранки дважды, раз – ради недостатков набора, другой – ради достоинств текста. Он верил, что дело только выигрывает, когда зрительную проверку сменяет утоление разума. Теперь он как раз тешил последний, и не ища ошибок, сохранял все же возможность приметить пропущенный промах – его или наборщика. Помимо того, он позволял себе – с всемерной почтительностью – подвергать сомнению (на полях второго, предназначенного автору, экземпляра) кое-какие своеобычности слога и правописания, полагаясь на понимание великим человеком того, что сомнение вызывает не гениальность его, а грамматика. После долгих обсуждений с Филом решено было не предпринимать ничего по поводу риска быть обвиненными в диффамации, сопряженного с прямотой, присущей R. в описании его непростой любовной жизни. Он "уже однажды заплатил за нее одиночеством и раскаянием и готов теперь расплатиться наличными с любым дураком, которого заденет его рассказ" (укороченная и упрощенная цитата из

его последнего письма). В длинной главе, куда более разнузданной (при всей грандиозности словесной отделки), чем жеребья болтовня охотных им модных авторов, R. изобразил мать и дочь, которые ублажают своего молодого любовника впечатляющими ласками в горах, на краю скалы, обрывающейся в театральную бездну, а также в иных, не столь рискованных местах. Хью не знал миссис R. достаточно близко, чтобы оценить ее сходство с матроной из книги (отвислые груди, дряблые бедра, при соитии всхрапывает, словно енот, и тому подобное); но дочь, ее повадки и жесты, ее бездыханная речь и множество иных черточек, с которыми он не был знаком сознательно, но которые укладывались в общее его представление, дочь была определенно Джулией, хоть автор и сделал ее светловолосой и вообще приглушил евразийские особенности ее красоты. Хью читал со вниманием и любопытством, не забывая впрочем вылавливать в прозрачном потоке текста опечатки, чем грешат и иные из нас, — там починяя увечную литературу, тут помечая курсив; глаз его и хребет (главный орган подлинного читателя) скорей оттеняли, чем оттесняли друг друга. Случалось, что смысл фразы ему не давался, — к чему, собственно, клонится "промежек" и что это за "бурные бакланы", не переставить ли "к" и "л" и не заменить ли второе "б" заглавным? Словарь, которым он пользовался дома, был не столь осведомителен, как издательский, встрепанный, огромный, и теперь он спотыкался на таких чудных вещах как "вся прелесть юных черев" или "пятнастый небрис". Он усомнился в имени "Омир ван Балдигов" — голландская частица вроде бы не вязалась со всем остальным; или все сочетание — попросту лукавая перетасовка? В конце концов он зачеркнул знак вопроса, зато в другом месте утвердил в правах "Reign of Cnut"[33]: робкая считича, правившая текст до него, полагала, что нужно либо переставить в последнем слове две буквы, либо совсем заменить его на "the Knout"[34], — она была из русских, как и Арманда.

Наш Персон, наш читатель не был вполне уверен, что ему по душе вычурный, изломанный слог R., и все же в лучших его проявлениях ("серая радуга обглоданной облаками луны") этот слог дьявольски расшевеливал память. Он поймал себя на том, что прикидывает, исходя из подложных данных, в каком именно возрасте, в каких обстоятельствах приступил автор к соращению Джулии: в детстве ли, когда он щекотал ее в ванне, целовал в мокрые плечи и наконец уволок в свое логово, завернув в просторное полотенце, — одно из самых вкусных мест в романе! Или он начал за ней ухаживать в первый ее студенческий год, тот, в котором ему заплатили две тысячи долларов за чтение (перед огромной толпой студентов и жителей университетского города) одного из его рассказов, к той поре уже изданного-переизданного, но и вправду прекрасного? Как хорошо обладать талантом такого покроя!

Уже двенадцатый. Он погасил в гостиной свет и растворил окно. Ветреная мартовская ночь что-то тронула в комнате пальцем. За полузадернутыми шторами электрическая вывеска "ДОППЛЕР" сместилась к лиловому тону и осветила мертвенно белые листы, оставленные им на столе.

Дав глазам свыкнуться с темнотой смежной комнаты, он воровато вступил внутрь. Начальный ее сон помечался обычно громовым храпом. Невозможно было не изумляться, как ухитряется женщина, столь хрупкая и изящная, порождать эти ревущие раскаты. В начале супружества Хью томился, боясь, что храп может продлиться целую ночь. Но всякий раз что-нибудь – шум снаружи, приснившийся толчок, сдержанный кашелек кроткого мужа – заставляло ее встрепенуться, вздохнуть, может быть почмокать губами или поворотиться на бок, и после она уже спала беззвучно. Эта смена ритма, как видно, уже состоялась, пока он работал в гостиной, и теперь, дабы не вызвать возобновления целого цикла, он старался раздеться по возможности бесшумно. Впоследствии он вспоминал, с какими предосторожностями пришлось вытягивать чрезвычайно скрипучий ящик комода (которого днем он не слышал ни разу), чтобы достать оттуда свежие трусы, надеваемые им вместо пижамы. Шопотом выругав старую деревяшку за idiotские стенания, он не стал задвигать ящик, однако стоило ему на цыпочках двинуться к своей стороне кровати, как на смену ящику заступил дощатый пол. Разбудил? Пожалуй что разбудил, но не вполне, так – проворошил дырку в стогу, и Арманда что-то пробормотала про свет. На самом деле мрак нарушался только наклонным лучом из гостиной, дверь в которую он лишь притворил. Тихо закрыв ее, он ошупью забрался в кровать.

Несколько времени он лежал, не закрывая глаз, вслушиваясь в еще один упорный звук, треньканье капель о линолеум под неисправной батареей. Так вы говорите, что ждали бессонной ночи? Ну не совсем. Вообще-то он ощущал сонливость и полагал, что устрашающе действенные "Пилюли Мэрфи", к которым он иногда прибегал, сегодня навряд ли понадобятся; но все же сознавал, несмотря на дрему, как подбираются к нему готовые наброситься тревоги. И что за тревоги? Тревоги как тревоги, ничего серьезного или из ряда вон. Лежа на спине, он ждал, когда поднакопятся и они, и блеклые пятна, воровато ползшие по потолку к привычным местам, пока глаза привыкали ко мраку. Он думал о том, что жена опять изображает женское недомогание, чтобы держать его на расстоянии; что она, вероятно, обманывает его и во многом ином; что и он тоже в определенном смысле изменяет ей, скрывая ночь, проведенную с другой: еще до женитьбы, если ограничиться временем, но в рассуждении пространства, – вот в этой самой комнате; что подготовка чужих книжек к печати – работа в общем-то унижительная; что ни эта неизбывная тягомотина, ни мимолетное недовольство ничего не значат в сравнении с его все возрастающей, все более нежной любовью к жене; что надо бы на следующий месяц повидать офтальмолога. Он подставил "д" вместо неправильной буквы и продолжил просмотр крапчатых гранок, в которые превращалась теперь застилавшая зрение тьма. Сдвоенный сбой сердца вновь катапультировал его в полную ясность сознания, и он пообещал своему невыправленному "я" ограничить дневное табачное довольствие парой сердцебиений.

"Тут вы и вырубались?"

"Да. Может быть, я пытался еще различить неясную строчку, однако – да, я уже спал."

"Полагаю, урывками?"

"Нет, напротив, другого такого глубокого сна я не упомяну. Понимаете, в ночь перед этой я спал не больше нескольких минут."

"Так. Теперь я хотел бы выяснить, сознаете ли вы, что состоящие при крупных тюрьмах психологи обязаны кроме прочего практиковаться в той части танатологии, которая судит о средствах и способах причинения насильственной смерти?"

Персон издал вялый отрицающий звук.

"Ну хорошо, попробую выразить это иначе: полиции нужно знать, какое орудие применил нарушитель закона, а танатологу – как и почему он его применил. Пока понятно?"

Вялое подтверждение.

"Орудия это, ну что ли – орудия. Фактически они могут составлять с применяющим их единое целое, как, скажем, плотницкий уголок – это просто часть плотника и ничего больше. С другой стороны, и сами орудия могут состоять из костей и плоти вроде вот этих" (приподняв ладони Хью, поочередно похлопав их и поместив на свои для показа, как бы приступая к какой-то детской игре).

Огромные лапы Хью вернулись к нему, словно пара пустых тарелок. За ними последовали пояснения, что при удушении молодого, но вполне уже взрослого человека как правило пользуются одним из двух способов: любительским (и не очень надежным) – это когда нападают спереди, и более профессиональным подходом – сзади. При первом способе восемь пальцев крепко охватывают шею жертвы, а два больших сжимают горло – ему или ей; тут правда имеется риск, что руки, ее или его, вцепятся вам в запястья или как-то еще помешают покончить дело. При второй, более верной методе, то есть при нападении сзади, оба больших пальца сильно сдавливают тыльную часть мужской или, что предпочтительней, женской шеи, а остальные восемь заняты горлом. Первый у нас зовут "большаком", а второй "пианистом". Мы знаем, что вы на нее набросились сзади, но тут возникает такой вопрос: когда вы обдумывали, как задушить жену, почему вы выбрали "пианиста"? Потому ли, что инстинктивно чувствовали, что такой внезапный и крепкий захват сулит больший успех? Или у вас имелись другие, субъективные соображения, скажем, вы полагали, что вам будет не очень приятно смотреть, как изменяется в ходе процесса выражение ее лица?

Да ничего же он не обдумывал. Он проспал все это жуткое машинальное действие и проснулся, лишь когда оба грохнулись о пол рядом с кроватью.

Он вроде упоминал, что ему приснилось, будто дом охвачен огнем?

Именно так. Струи пламени бились вокруг и все, что он видел, казалось застанным алыми лентами стеклянистого пластика. Его случайная соложница метнулась к окну и настезь его распахнула. Так, а это кто же такая? Она из прошлого – уличная девица, которую он подцепил в первую поездку за границу, лет двадцать назад, бедная девушка смешанного происхождения, хотя на самом деле американка и очень милая, ее звали Юлия Ромео, эта фамилия на староитальянском означает "паломник", но ведь и каждый из нас – паломник, как каждый сон – лишь анаграмма дневной реальности. Он бросился к ней, чтобы не дать ей выпрыгнуть. Окно было большое, низкое, с широким подоконником, мягким, обтянутым тканью, по обычаю этой пламенной и льдистой страны. Какие ледники, какие зори! Светозарное тело Юлии или Джулии покрывала доплеровская сорочка, она простерлась на подоконнике, еще касаясь раскинутыми руками оконных боков. Он перегнулся через нее и заглянул вниз, там, далеко, в бездне двора или сада шевелилось такое же пламя, вроде язычков красной бумаги, которые спрятанный вентилятор побуждает биться вокруг поддельных святочных поленьев в праздничных витринах заметенного снегом детства. Выпрыгивать как и пытаться спуститься по бахромчатой ткани, покрывающей подоконник (в зеркальце за спиной у сна длинношеяя девушка–продавщица с чем–то средневековым, пожалуй, фламандским в лице предъявила образец бахромы) показалось ему безумием, и бедный Хью старался, как мог, удержать Джульетту. Пытаясь понадежней ее ухватить, он вцепился ей сзади в шею, прямоугольные ногти больших пальцев ушли под залитый лиловым светом затылок, другие восемь стиснули горло. На экране образовательного синема за двором или улицей появилась терзаемая трахея, но в остальном все стало удобным и безопасным: он крепко удерживал Джулию и спас бы ее от верной гибели, если б в самоубийственных попытках убежать от огня она не соскользнула неведомо как с подоконника и не увлекла его за собой в пустоту. Какое падение! Какая глупая Джулия! Какая удача, что мистер Ромео еще держал и скручивал и сокрушал округлый хрящик, который просвечивали рентгеном пожарники и горные гиды, собравшиеся на улице. О, как они летели! Супермен, уносящий в объятьях младую душу!

Удар о землю вышел не таким жестким, как он ожидал. Это концертный вальс, а не сон пациента, Персон. Мне придется о вас доложить. Он ушиб локоть, а ее ночной столик свалился вместе с лампой, стаканом, книгой; но, благодаренье Искусству, – она была в безопасности, она была с ним, она лежала совершенно спокойно. Он нашарил и аккуратно включил упавшую лампу, не меняя ее непривычного положения. Примерно с минуту он недоумевал, что делает здесь жена, раскинувшись по полу, раскинув, словно в полете, волосы. Потом он устался на свои застыдившиеся лапы.

вне всяких сомнений, это последнее из моих писем к вам. Я уйду от вас. Уйду к другому Издателю, еще более великому. В его Издательском Доме меня будут править херувимы – или набирать с ошибками черти, в зависимости от того, к какому отделу припишут мою бедную душу. Итак, прощайте милый друг, и пусть ваш наследник спустит это письмо с торгов с наибольшей для себя выгодой.

Собственноручный характер письма объясняется моим нежеланием, чтобы его прочитал Том Там или кто-то из его удалцов-машинистов. Меня смертельно мутит в единственной отдельной палате болонской больницы, после топорной операции. Хорошая молодая нянюшка, которая отнесет это письмо на почту, рассказала мне, жестикулируя, как дровосек, нечто, оплаченное мной с такой же щедростью, с какой я оплатил бы иные ее услуги, будь я еще мужчиной. В сущности, услуга смертного знания бесконечно ценнее услуг любви. Согласно моей миндалеокой шпионке, великий хирург, да прогнет и его печень тоже, соврал, объявив мне вчера с ухмылкой скелета, что operazione[35] прошла perfecta[36]. Что ж, она и была таковой в том же смысле, в каком Эйлер называл ноль совершенным числом. На самом деле, они распороли меня, бросили один ошалелый взгляд на руины моей fegato[37], и ничего не коснувшись, заштопали заново.

Я не стану утомлять вас проблемой Тамворта. Жаль, что вы не видели самодовольной складки выпирающих из бороды губ этого долговязого деятеля, когда он навещал меня нынешним утром. Как вы знаете, – как знают все, даже Мэрион, – он прогрыз ходы во все мои дела, заползая в каждую щель, подбирая каждое мое слово, от которого тянет немецким душком, так что теперь он в состоянии разыгрывать при покойнике Босуэлла с тем же успехом, с каким разыгрывал босса при живом человеке. Я напишу еще моему и вашему адвокату относительно мер, принятия коих я бы желал для того, чтобы Тамворт застревал на каждом из поворотов его лабиринтообразных планов.

Единственное дитя, какое я когда-либо любил – это восхитительная, глупенькая, вероломная Джулия Мур. Каждый мой цент и сантим, а равно и все литературные останки, которые удастся выдрать из Тамвортовых лап, должны перейти к ней, какие бы темные двусмысленности не содержались в моем завещании: Сэм знает, о чем я, и будет действовать соответственно.

В ваших руках две последние части моего Опуса. Как жаль, что нет с вами Хью Персона, чтобы присмотреть за его публикацией. Когда будете отвечать на это письмо, не пишите ни слова о том, что вы его получили, но взамен, в виде шифра, который укажет мне, что речь идет именно о нем, сообщите, как добрая старая сплетница, что-либо о Хью, – почему, например, он год – или больше? – проторчал в тюрьме, если признано, что действовал он в эпилептическом трансе; почему его перевели в заведение для душевнобольных преступников после того, как дело пересмотрели и никакого состава преступления в нем не нашли? И почему следующие пять или шесть лет его мотало между тюрьмой и психушкой, пока он не оказался на приватном лечении? И кто берется лечить сновидения, кроме явных мошенников? Пожалуйста, сообщите мне все подробности, потому что Персон был одним из самых славных людей,

каких я знал, а также и потому, что в письмо о нем вы сможете украдкой втиснуть всякого рода секретные сведения, предназначенные для нашего бедолаги.

И поверьте, бедолага – самое точное слово. Моя увечная печень грузна, как отвергнутый манускрипт; они ухитряются с помощью частых инъекций не подпускать ко мне гиену губительной боли, но она все же маячит за стеной моей плоти, подобно глухому грому непрестанной лавины, сметающей там, у меня за спиной, все постройки моего воображения, все вешки моего сознательного "я". Смешно, но я как-то привык верить, что умирающие видят тщету вещей, суетность славы, страстей, искусства и прочего. Я верил, что драгоценные воспоминания истираются в мозгу умирающего до радужной ветоши; теперь же я ощущаю совершенно противное; самые пустяковые мои чувства и таковые же всех людей обрели исполинский размер. Вся солнечная система – лишь отражение в стеклышке моих (или ваших) наручных часов. И чем я сильнее ссыхаюсь, тем крупнее становлюсь. Полагаю, это явление не вполне рядовое. Полное отвержение всех религий, когда бы то ни было примечтавшихся человеку, и полная собранность перед лицом полной гибели! Если бы мне удалось описать эту тройственную полноту в одной большой книге, она несомненно стала бы новой Библией, а ее сочинитель – основателем новой веры. Моей самооценке просто повезло, что книга это написана не будет – и не только потому, что умирающие книг не пишут, но потому, что именно эта книга не смогла бы в единой вспышке выразить то, что может восприниматься лишь непосредственно".

Приписано адресатом:

Получено в день кончины писателя. В архив; раздел: Хранение – R.

Персон ненавидел свои ступни – их вид и даруемые ими ощущения. Ступни были на редкость уродливы и чувствительны. Даже повзрослев, он, когда раздевался, старался на них не смотреть. Вследствие этого его миновала американская мания разгуливать по дому босиком – этот попятный проскок сквозь детство во времена еще более бесхитростные и бережливые. Какой зазубристый трепет испытывал он при одной только мысли, что ноготь может занозиться в шелке носка (стало быть, отпадали и шелковые носки)! Так содрогается женщина, заслышав визг протираемого стекла. Ступни его были бугристы, слабы и вечно саднили. Приобретение обуви приравнялось к посещению зубного врача. Теперь он долгим неприязненным взглядом смерил пару, купленную в Бриге дорогою к Витту. Ничего и никогда не обертывают с такой сатанинской старательностью, как обувную коробку. Он ободрал бумагу, испытав при этом нервное облегчение. В магазине он уже

примерил эти неприятно тяжелые грубые горные сапоги. Определенно они приходились впору и так же определенно вовсе не отличались удобством, на котором настаивал продавец. Добротны – да, но эта добротность угнетала. Стеная, он натянул их, и проклиная, зашнуровал. Деваться некуда, придется терпеть. Задуманное восхождение в городских туфлях не сделаешь: при первой и единственной такой попытке ноги его раз за разом разъезжались на скользких каменных плитах. Эти по крайности будут держаться на предательских плоскостях. Он вспомнил и волдыри, набитые такой же, правда, замшевой парой, купленной восемь лет назад и выброшенной при отъезде из Витта. Ну что же, левый давит чуть меньше правого – хромое, но утешение.

Он снял тяжелый темный пиджак и напялил старенькую ветровку. Проходя коридором к лифту, он насчитал три ступеньки. Единственное их назначение, приходившее в голову, состояло в предупреждении ему – придется страдать. Но он запретил себе думать о рваной кромке боли и закурил.

Лучший вид на горы открывался в этом отеле, – что вообще присуще подобным ему, второсортным, – из окон северного коридора. Темные, почти черные скальные пики в белых пронизьях, часть гребней сливается с мрачным набрякшим небом; ниже боровой мех; еще ниже более светлая зелень полей. Грустные горы! Гордые груды гравитации!

Ложе долины с городишком Витт и множеством деревенок вдоль узкой реки состояло из унылых лужков, обнесенных колючей проволокой и украшенных лишь буйно цветущим высоким фенхелем. Реку, ровную словно канал, теснила ольха. Раздолье для глаз, но упокоиться им не на чем ни вдали, ни вблизи – не на слякотной же коровьей тропе, косо идущей муравчатым скатом, не на питомнике лиственниц, выстроенных по ранжиру на противоположном откосе.

На этой, первой стадии памятного посещения (Персон питал склонность к паломничеству, как и французский пращур его, католический поэт и без малого святой) он отправился через Витт к пригоршне дач на склоне над городком. Сам городок, казалось, стал еще убожей и бестолковей. Хью признал фонтан, банк, церковь, огромный каштан и кафе. Вот и почта, и скамья у ее двери дожидается писем, которые никогда не приходят.

Мост он перешел, не остановившись, чтобы выслушать пошлый шопот потока, которому не о чем было ему рассказать. Верхушку склона окаймляла еловая бахрома, дальше тоже теснились ели – туманные призраки или отряд пополнения – сереющей массой под дождливыми облаками. Здесь проложили новую дорогу, и новые дома подросли, вытеснив скудные вешки, которые он помнил или думал, что помнит.

Теперь предстояло найти виллу "Настя", еще сохранявшую нелепо уменьшенное русское имя покойной старухи. Она продала ее бездетной английской чете перед самой своей последней болезнью. Ему бы только взглянуть на крыльцо, как, случается, глянешь на глянцеви́тый конверт, и ты уже в прошлом.

На уличном углу Хью замешкался. Сразу за ним женщина торговала с лотка овощами. *Est-ce que vous savez, Madame*[38]... – Да, конечно, вверх по тому проулку. Пока она говорила, большой, белый, трясучий пес выполз из-за корзины, и Хью, потрясенный бессмысленным узнаванием, вспомнил, как восемь лет тому стоял на этом же месте и смотрел на этого пса, и тогда уже престарелого, а ныне отважно достигшего баснословного возраста с единственной целью – услужить его ослепшей памяти.

Кругом все стало неузнаваемо – за исключением белой стены. Сердце Хью колотилось, словно после крутого подъема. Белокурая девочка с бадминтонной ракетой присела и подняла с панели волан. Дальше вверх он увидел виллу "Настя", теперь окрашенную в небесную синеву. Все окна были закрыты ставнями.

23

Выбирая одну из уводящих в горы размеченных троп, Хью вспомнил другую подробность прошлого, а именно маститого ревизора скамеек, загаженных птицами, таких же старых, как он, там и сям догнивавших по затененным углам, – бурые листья снизу, зеленые сверху – по бокам решительно идиллической пешей тропы, поднимавшейся к водопаду. Он вспомнил трубку ревизора, усыпанную богемскими самоцветами (в гармонии с фурункулезным носом ее обладателя) и обыкновение Арманды обмениваться со старикашкой скабрезными комментариями на швейцарском немецком, покамест тот обривизовывал сор под сломанными сиденьями.

Ныне в этих местах к услугам туристов имелось множество новых подъемников и подъемов плюс недавно проложенное шоссе от Витта к гондольной станции, куда Арманда с друзьями добиралась пешком. В свое время Хью старательно изучал карту, приколотую для общего пользования к доске объявлений у почты, – большую *Carte du Tendre*, или Карту Терзаний. Если бы ему теперь приспело с удобством достичь ледового склона, он мог подъехать новым автобусом от Витта к подъемнику Драконита. Он, однако, желал проделать это на прежний нелегкий манер, пройдя по дороге наверх через достопамятный лес. Он надеялся, что гондолы Дракониты окажутся теми, какие он помнил, – кабинками о двух обращенных друг к другу скамьях. Кабинки плыли, держась в двадцати что ли ярдах над полоской травянистого склона, по прочисти между елями и зарослями ольхи, через каждые тридцать, примерно, секунд обмениваясь с пилонами неожиданными толчками и стрекотом, но в остальном скользя чинно.

Память Хью увязала в единый путь целый пук лесных стежек и просек, – все они вели к первому сложному участку восхождения, к свалке валунов и рододендроновым дебрям, по которым приходилось продираться наверх, подбираясь к кабельной дороге. Неудивительно, что скоро он заблудился.

А память тем временем торила собственный путь. Снова он задыхался, следуя по ее немилосердным пятам. Снова она дразнила Жака, красивого юношу-швейцарца с мечтательным взглядом и с телом, покрытым рыжими, как у лисы, волосками. Снова она флиртowała с эклектическими английскими близнецами, называвшими лощины "холодными войнами" и говорившими про горные гребни "класса Ах". Ни ноги, ни легкие Хью, при всей его крепости, не позволяли ему даже в воспоминаниях двигаться с ними вровень. И когда четверка ускоряла шаги, исчезая со своими жестокими ледовыми топорами, мотками веревок и прочими орудиями пыток (снаряжение, преувеличенное невежеством), он опускался отдохнуть на камень, и глядя вниз, казалось, видел сквозь подвижный туман как нарождаются те самые горы, которые топчут его мучители, кристаллическая кора, что заодно с его сердцем воздымалась со дна незапамятного моря (моря). Впрочем, обычно он отставал еще до того, как они выбирались из бора, унылого скопища старых елей с крутыми тропками в мокрых кущах кипрея.

Ныне он поднимался по этому бору, задыхаясь так же мучительно, как в прошлом, когда тащился за золотым затылком Арманды или огромным заплечным мешком на голой мужской спине. Как и тогда, правый сапог тер в носке и уже протер в коже круглую дырку у основания среднего пальца, там теперь помещался раскаленный красный глазок, просвечивавший сквозь всякую истертую мысль. Наконец он стряхнул с себя лес, — добрался до усеянного камнями поля и амбара, которые вроде бы помнил, но ни ручья, где он мыл некогда ноги, ни поломанного моста, перемахнувшего вдруг временной провал в его разуме, нигде не было видно. Он все шел. Казалось, немного разведрилось, но скоро туча опять ладошкой прикрыла солнце. Тропка вышла на пастбище. Он заметил большую белую бабочку, распяленную на камне. Ее бумажные крылья в черных кляксах и тускло-малиновых пятнах, в обрамлении прозрачных полей, на вид неприятно измятых, чуть подрагивали на безрадостном ветру. Хью не любил насекомых, а это выглядело особенно неэстетично. И все же непривычно доброе настроение помешало ему поддаться порыву и раздавить ее слепым сапогом. С неопределенной мыслью, что бедняжка, может быть, устала, проголодалась и обрадуется, если ее перенести на ближайшую коростянку, всю в розоватых цветочках, он склонился над бабочкой, но та, шумно всшелестев, увернулась от его носового платка, и неряшливыми шлепками крыльев одолев тяготение, мощно махнула в сторону.

Он добрал до указательного столба. Сорок пять минут до Ламмершпица, два с половиной часа до Римперштейна. Это не та дорога, что вела к гондолам у глетчера. Приведенные расстояния казались смутными, будто бред.

Лобатые камни, серые, в пятнах черного мха и бледнозеленого лишайника выстроились вдоль тропы, уходившей за столб. Он глянул на тучи, размывшие дальние пики или повисшие между ними вроде медуз. Нет смысла продолжать одинокий подъем. Быть может, она проходила здесь, быть может, ее подошвы когда-то оттиснули в этой глине замысловатый рисунок? Он оглядел остатки одинокого пикника, — куски яичной скорлупы, взломанной пальцами еще одного, немногие минуты

назад сидевшего здесь одинокого путника, смятый пластиковый пакет, в который одни проворные женские руки за другими вкладывали тонкими щипчиками белые шарики яблок, черные черносливы, изюм, липкую мумийку банана – сейчас их уже переваривают. Скоро все поглотит серость дождя. Он почувствовал на темени первый его поцелуй и повернул назад – к лесу и вдовству.

В дни, подобные этому, зрение отдыхает, предоставляя прочим чувствам пользоваться большей свободой. С земли и с неба смыло все краски. Дождь то ли шел, то ли притворялся идущим, то ли не шел совсем, а все казалось, что он идет, – в том смысле, который дано выразить в слове лишь некоторым старым северным языкам, или даже не выразить, но как бы переложить, создавая призрак звучания, порождаемого редким дождем в сумраке благодарных розовых зарослей. "Дождь в Виттенберге, сушь в Витгенштейне." Темная шутка из "Фигуральностей".

24

Прямое вмешательство в жизнь персонажа – занятие не по нашей части, а с другой, фигурально говоря, стороны и судьба его не является цепью predetermined звеньев: кое-какие "будущие" события могут быть вероятней иных, ну и ладно, – все они химеричны и каждая причинно-следственная цепочка есть итог пробы провалов, даже если вокруг вашей шеи действительно сомкнулся люнет, и толпа кретинов затаила дыхание.

Мы достигнем лишь хаоса, если одни из нас примутся отстаивать мистера N., а другие стакнутся для поддержки мисс Джулии Мур, чьи увлечения – например, далекие диктатуры – придут в столкновение с интересами ее старого хворого ухажера, мистера (ныне лорда) N. Все что мы можем сделать, понукая нашего фаворита двигаться в лучшем из направлений, в обстоятельствах, не влекущих за собой причинения кому-то другому ущерба, – это поступать подобно легкому ветерку и уж коли подталкивать, так очень легко и в высшей степени опосредованно, – скажем, попытаюсь наслать нашему фавориту сон, который, мы только надеемся, он припомнит как пророческий, если похожее происшествие и вправду случится. На печатной странице слова "похожее" и "вправду" следует также набрать курсивом, хоть легоньким, указывая на легкость, с какой ветерок отклоняет курс персонажей. Вообще говоря, мы от курсива зависим даже сильнее, чем сочинители детских книжек со всем их милым лукавством.

Жизнь человека уместно сравнить с персонажем, танцующим во множестве облиций вокруг собственного я: так овощи из первой нашей книжки с картинками окружали спящего мальчика – зеленый огурец, синий баклажан, красная свекла, картофель rige[39], картофель fils[40], женственная спаржа и многие, ох как многие, иные – их кружащий ronde[41] неся все быстрее и быстрее, образовав наконец прозрачное,

смешанного окраса кольцо вокруг покойника или планеты.

И еще в одно мы не намерены ввязываться – объяснять необъяснимое. Люди научаются жить с черным бременем, с огромным саднящим горбом: с предположением, что "действительность", может статься, всего только "сон". А насколько было б страшнее, если бы ваша уверенность в том, что вы уверены в сноподобной природе действительности, и сама оказалась бы сном, встроенной галлюцинацией! Следует, впрочем, помнить, что не бывает миража без точки исчезновения, как не бывает озера без замкнутого круга твердой земли.

Мы показали, что без кавычек ("действительность", "сон") нам обойтись не под силу. Решительно можно сказать, что знаки, которыми Хью Персон все еще перчит граночные поля, имеют основу метафизическую или зодиакальную! "Прах ко праху" (мертвецы недурные смесители, это, по крайности, точно). Пациент, находившийся с Хью в одном из сумасшедших домов, дурной человек, но хороший философ, бывший в ту пору смертельно больным (кошмарная фраза, которой не вылечить никакими кавычками) записал в "Альбоме психушек и тюрем" (род дневника, ведомого Хью в те страшные годы):

"Распространено убеждение, что если человек установит факт посмертного выживания, он тому же решит или вступит на путь, ведущий к решению загадки Бытия. Увы, две эти проблемы вовсе не обязательно перекрываются или сливаются."

На этой причудливой ноте мы и закроем тему.

25

К чему клонилось твое паломничество, Персон? К простому зеркальному повторению застарелых мучений? К поискам сочувствия со стороны старого камня? К насильственному воссозданию невозстановимых мелочей? К поискам утраченного времени в смысле, полностью отличном от ужасного "Je me souviens, je me souviens de la maison où je suis né"[42] Гудгрифа да и от Прустовой погони? Он никогда (разве однажды, в конце последнего восхождения) не испытывал здесь ничего кроме смятения и скуки. Что-то другое заставило его вновь посетить тоскливый и тусклый Витт.

Не вера в призраков. Кто из них возымеет охоту вселиться в полузабытые груды материи (он не знал, что Жак лежит, погребенный под шестью футами снега, в Шуте, Колорадо), в неверные тропы или в клубную лачугу, до которой какое-то заклятие помешало ему добраться, и самое имя которой к тому же безнадежно спуталось с "Драконитой", – давно уж не выпускаемым возбуждающим средством, чья реклама однако продолжала пятнать заборы и даже стремнины. И все-таки нечто, связанное с призрачными посещениями вынудило его притащиться сюда с

другого материка. Это, пожалуй, стоит несколько прояснить.

Практически каждый сон, в котором она являлась ему после своей кончины, разыгрывался в декорациях не американской зимы, но гор Швейцарии и итальянских озер. И ведь он не нашел даже места в лесу, на котором веселая орава маленьких путешественников прервала незабываемый поцелуй. Миг соединения с ее доподлинным образом в обстановке, которую удастся в точности вспомнить, так и остался недостижимым.

Вернувшись в "Аскот", он сгрыз яблоко, стянул, рыча от облегчения, заляпанные глиной сапоги, и оставив без внимания ссадины и сырые носки, влез в уютные городские туфли. Теперь назад к мучительной задаче!

Уповая на то, что какой-нибудь мелкий зрительный толчок поможет ему вспомнить номер комнаты, приютившей его восемь лет назад, он прошелся вдоль коридора третьего этажа, — и после того, как номер за номером ответили ему непонимающим взглядом, остановился: уловка сработала. Он увидел очень черное 313 на очень белой двери и сразу же вспомнил, как говорил Арманде (обещавшей прийти к нему, но не желавшей, чтобы ее провожали): "Мнемонически это можно представить тремя профильными фигурками, — арестант, проходящий со стражником впереди и стражником сзади". Арманда ответила, что для нее это слишком кудряво, и что она просто запишет номер в маленький ежедневник, который носила в сумочке.

За дверью тявкнула собака: признак, сказал он себе, постоянного постояльца. И все же с собой он унес приятное ощущение, что сумел воскресить важный кусочек вот этого, частного прошлого.

Затем он спустился вниз и попросил красавицу-консьержку позвонить в Стрезу, в гостиницу, и узнать могут ли там дня на два сдать ему номер, в котором восемь лет назад останавливались мистер и миссис Хью Персон. Она называлась, сказал он, как-то наподобие "Бью Ромео". Девушка повторила название в его истинном виде и сказала, что на это уйдет несколько минут. Он подождет в гостинной.

В гостинной сидели лишь двое: женщина в дальнем углу, она закусывала (ресторан оказался закрыт, там еще не прибрали после фарсовой драки), и швейцарский делец, листавший старинный номер американского журнала (кстати сказать, брошенного тут Хью тому восемь лет, — впрочем, эту линию жизни никто не исследовал). Стол по соседству с швейцарцем покрывали гостиничные брошюры и относительно свежая периодика. Локоть дельца покоился на номере "Transatlantic". Хью потянул журнал, и швейцарский господин едва не выпрыгнул из кресла. Взаимные извинения расцвели разговором. Английский язык мсье Уайльда во многом походил на английский Арманды — и грамматикой, и интонациями. Его сверх всякой меры поразила статья в "Transatlantic" (на минуту отняв номер у Хью, он облизал большой палец, отыскивал нужное место и, постукивая по странице ногтями, вернул журнал открытым на возмутительной статье).

"Тут один рассказывает про человека, который убил свою супругу лет

восемь назад и..."

Консьержка, чью стойку и грудь он видел в миниатюре с места, на котором сидел, издали махала ему. Вырвавшись из загончика, она затрусила в сторону Хью:

"Не отвечает, — сказала она, — хотите, чтобы я продолжала?"

"Да-да, — ответил Хью, вставая и стучаясь о кого-то (о женщину, выходящую из гостиной, обернув в бумажную салфетку оставшееся от окорока сало). — Да. Ох, простите. Да, непременно. Позвоните в справочную или еще куда."

Так вот, лет восемь назад убийце дали пожизненный срок (был он дан, в старинном значении, и Персону, но Персон растранижил его, растранижил в болезненном сне!), а теперь его вдруг взяли и выпустили, потому что он, видите ли, вел себя образцово и даже научил сокамерников шахматам и кункену, разговорному эсперанто (он заядлый эсперантист), наилучшим способом выпекания тыквенного пирога (он еще и кондитер), знакам зодиака и прочее, и прочее. Некоторым людям, к сожалению, что кандалы, что кандела — это такая единица силы света в спектроскопии — им все едино.

Страшное дело, продолжал швейцарский господин, применяя выражение, прихваченное Армандой у Джулии (ныне леди N.), просто страшное дело, до чего в наше время цацкаются с преступниками. Вот хоть сегодня вспыльчивый официант, когда его обвинили в том, что он стянул ящик гостиничного "Dôle"[43] (которого мсье Уайльд, просто в скобках, не рекомендует), заехал в глаз метрдотелю — и здорово его подбил. И как полагает его собеседник, отель — что, вызвал полицию? Нет, мистер, не вызвал. Eh bien[44], по высшему (или низшему) счету ситуации очень схожи. Приходилось ли двуязычному господину заниматься проблемой тюрем?

Как же, как же, еще бы не приходилось. Он сам сидел в тюрьме, в сумасшедшем доме, снова в тюрьме, дважды состоял под судом за удушение американской гражданки (ныне леди N.): "В свое время я целый год просидел в одной камере с совершенно чудовищным типом. Если бы я был поэт (а я всего лишь корректор), я описал бы вам рай одиночного заключения, благодать незапятнанного унитаза, свободу мысли в идеальной тюрьме. Назначение тюрем (улыбаясь мсье Уайльду, который смотрел на часы и мало что видел) определенно не в том, чтобы излечить душегуба, и не только в том, чтобы его покарать (чем можно покарать человека, у которого все с собой, в себе, вокруг себя). Их единственное назначение, назначение прозаическое, но единственно логичное, — в том, чтобы помешать убийце убить снова. Исправление? На свободу под честное слово? Миф, шутка. Зверя не исправишь. А воришек не стоит и исправлять (для них достаточно кары). В наше время в так называемых либеральных кругах заметны некие прискорбные настроения. Коротко говоря, убийца, который сам себя почитает за жертву, — он не просто убийца, он еще сумасшедший."

"Я, пожалуй, пойду", — сказал бедный, стойкий мсье Уайльд.

"Дома для душевнобольных, лечебницы, клиники — все это я тоже прошел. Жизнь в сумасшедшем доме, в куче с тридцатью, примерно, бессвязными идиотами — это ад. Я нарочно подделывал буйство, чтобы попасть в одиночку или в это их чертово крыло для особо опасных, — для пациента вроде меня там был рай несказанный. Единственный мой шанс остаться в своем уме состоял в том, чтобы изображать недоумка. Тернистый путь. Красивый дюжий санитар с удовольствием отвешивал мне оплеуху открытой ладонью, добавляя для сходства с сэндвичем еще парочку — тыльной стороной руки, — и я возвращался в блаженное уединение. При этом всякий раз, как извлекали на свет мое дело, тюремный психиатр доносил, что я отказался обсуждать с ним то, что на их профессиональном жаргоне называется "супружеским сексом". С грустной радостью должен сказать, и с грустной гордостью также, что ни охранникам (а среди них попадались люди гуманные и прозорливые), ни фрейдovým инквизиторам (эти все как один дураки или жулики) не удалось ни взломать, ни каким-либо способом изменить ту грустную личность, которой я обладал."

Мсье Уайльд, заключив, что перед ним либо пьяный, либо помешанный, тяжело удалился. Хорошенькая консьержка (плоть есть плоть, а красное жало есть l'aiguillon rouge[45], и любовь моя не обидится) снова замахала ему. Он встал и пошел к ее стойке. Гостиницу в Стрезе ремонтируют после пожара. Mais[46] (поднимая хорошенький пальчик)...

Всю свою жизнь, и мы счастливы это отметить, наш Персон испытывал странное ощущение (знакомое трем знаменитым теологам и двум поэтам поплоше) присутствия за спиной, — так сказать, у плеча, — гораздо более крупного, невообразимо более мудрого, спокойного и сильного незнакомца, превосходящего его в рассуждении нравственности. В сущности, это и была его главная "сопроводительная тень" (некий критический скоморох задал R. таску за этот эпитет), и не будь у него этой прозрачной тени, мы бы и разговаривать не стали о дорогом нашем Персоне. На недолгом пути от кресла в гостиной до восхитительной девичьей шеи, полных губ, длинных ресниц и полуприкрытых прелестей Персон услышал, как нечто или некто предупреждает его, что лучше ему оставить Витт и уехать в Верону, Флоренцию, Рим, Таормину, если Стреза окажется недоступной. Он не внял своей тени и в фундаментальном смысле был, наверное, прав. Мы-то считаем, что у него оставалось еще в запасе несколько лет животных удовольствий, и мы-то были готовы затащить эту девушку в его постель, но в конечном счете ему оставалось решать и ему умирать, если он того пожелает.

Mais! (чуть сильнее, чем "но" или даже "однако"), у нее имеется для него хорошая новость. Он хотел перебраться на третий этаж, ведь так? Сегодня вечером он сможет это сделать. Дама с собачкой съезжает перед обедом. Довольно забавная история. Оказывается, ее муж присматривает за собаками в отсутствие их хозяев. А дама, когда сама отправляется путешествовать, обыкновенно берет с собой собачонку, выбирая из самых печальных. Сегодня утром позвонил муж и сказал, что владелец вернулся домой раньше времени и, не найдя своего любимца, закатил ужасный скандал.

Гостиничный ресторан, довольно убогое заведение, обставленное на деревенский покрой, был далеко не полон, впрочем, на завтра ожидалось два обширных семейства, а кроме того, во второй – более дешевой – половине августа предполагался или мог бы предполагаться (складки временных оборотов применительно к изучаемому строению пришли в большой беспорядок) небольшой, но приятный приток немцев. Новая невзрачная девушка в народном наряде, порядочно открывавшем ее сливочный бюст, заменила младшего из двух официантов; черная повязка покрывала левый глаз мрачного метрдотеля. Нашему Персону предстояло вселиться в номер 313 сразу после обеда, и он отпраздновал подступающее событие благоразумной дозой "Ивана Кровавого" (водка с томатным соком), предварив им гороховый суп, свинину (переодетую в "телячьи котлеты") с бутылкой рейнского и чашкой кофе с двойной виноградной водкой. Мсье Уайльд смотрел в другую сторону, когда тронутый или одурманенный американец проходил мимо.

Комната оказалась точь в точь как ему требуется или требовалась (опять путаются времена) для ее посещения. Безупречно застеленная кровать стояла в юго-западном углу, и горничная, что несколько погодя стукнет или могла бы стукнуть, чтобы ее разобрать, не была или навряд ли была бы допущена внутрь, – если, конечно, те, кто внутри и вовне, а также кровати и двери дотянут до той минуты. На прикроватном столике соседствовала со свежей пачкой сигарет и дорожным будильником опрятно обернутая коробка с зеленой фигуркой лыжницы внутри, светившейся сквозь сдвоенный кокон. Коврик у кровати – преувеличенное полотенце, такое же бледно-синее, как постельное покрывало, оставался еще засунут под столик, но поскольку она наперед отказалась (капризная! строгая!) остаться с ним до зари, она навряд ли увидит, навряд ли когда увидит, как коврик выполняет свой долг, принимая первый квадрат солнца и первое прикосновение оклеенных пластырем Персоновых ступней. Пучок колокольчиков и васильков (различие их тонов походило на легкую ссору любовников) был помещен либо чтившим чужие чувства помощником распорядителя, либо самим Персоном в вазу на комод, близ которой лежал сброшенный Персоном галстук, – третий оттенок синего, но в ином материале (сериканет). При верной фокусировке удалось бы увидеть, как в кишечнике Хью шустро перемещаются брюссельская капуста и картофельное пюре, живописно перемешанные с розоватым мясом; в этом змеистопещерном ландшафте можно было бы разглядеть и два или три яблочных семечка, стеснительных странников, забредших сюда из более ранней трапезы. Сердце его, маловатое для такого увальня, имело форму слезы.

Вернувшись на правильный уровень, мы видим на крючке черный плащ Персона, а поверх спинки стула его же угольно черный пиджак. Под карликовым письменным столиком, полным бессмысленных ящиков, в северо-восточном углу освещаемой лампой комнаты, донце мусорной

корзины, недавно опустошенной уборщиком, еще сохраняет сальный мазок и клочья бумажной салфетки. Маленький шпиц спит на заднем сидении "амилькара", уводимого в Трукс женою собачника.

Персон забрел в ванную, опорожнил пузырь, поразмыслил, не влезть ли под душ, но теперь она могла явиться в любую минуту, — если явится вообще! Он натянул щегольский свитер и вытащил последнюю таблетку антацида из хорошо ему памятного, но не сразу найденного кармана пиджака (удивительно, с каким трудом кое-кто из людей с первого взгляда отличает правый карман от левого в наброшенном на стул пиджаке). Она всегда говорила, что настоящий мужчина должен одеваться с иголки, но мыться не слишком часто. Исходящий от gousset[47] мужской запах, говорила она, может при некоторых положениях оказаться до крайности привлекательным, а дезодорантом следует пользоваться только дамам и гостиничным горничным. Никого и ничего в своей жизни не ждал он с таким волнением. Лоб у него намок, он дрожал, коридор был долг и тих, немногие обитатели отеля в большинстве находились внизу, болтая, играя в карты или просто счастливо балансируя на мягком краю дремоты. Он стянул покрывало и прилег головой на подушку, каблуки его туфель еще продолжали касаться пола. Новичкам нравится разглядывать такие увлекательные пустяки, как впадинка в подушке, видимая сквозь лоб персонажа — через лобную кость, зыблестый мозг, кость затылочную, сам затылок, черные волосы на затылке. В самом начале нашего всегда чарующего, порой пугающего нового бытия такого рода невинное любопытство (так играет ребенок с извилистыми отражениями в воде ручейка, так в приполярной обители африканка-монахиня с наслаждением трогает хрупкий циферблат первого своего одуванчика) дело вполне обычное, — особенно если персонаж и тени соотнесенного с ним вещества удастся проследить от юности и до смерти. Этот персонаж, Персон, стыл на воображаемой грани воображаемого блаженства, когда слышались шаги Арманды, вычеркивающие оба "воображаемых" на полях корректуры (никогда не слишком широких для сомнений и правки!). Вот где оргазм искусства сквозит по спинному хребту с несравнимо большею мощью, чем любовный восторг или метафизический ужас.

В этот миг ее, теперь нестираемого, проявления сквозь прозрачную дверь его комнаты он испытал восторг, какой испытывает турист, когда отрывается от земли, земля — прибежем к неогомеровской метафоре, — накренившись, выравнивается, и мы, почти не потратив пространства-времени, обретаемся уже в тысяче футов над нею, и облака (летучие легкие облака, белые-белые, размещенные довольно просторно) как бы разложены в небесной лаборатории по плоским пластинам стекла, и сквозь это стекло видны далеко внизу ржаные ломти земли, ободранный бок холма, индиговое круглое озеро, темная зелень сосновых лесов, инкрустации деревень. Тут с яркими напитками является стюардесса, — и это Арманда, сию минуту принявшая его предложение, хоть он и предупредил, что она преувеличивает ценность многих вещей — очарования нью-йоркских вечеринок, значительности его работы, будущего наследства (дядюшкиной торговли канцелярскими принадлежностями), вершин Вермонта, — и тогда самолет взрывается с ревом и рвотным кашлем.

Кашляя, наш Персон сел в удушающей тьме, нащупал лампу, но щелчок

выключателя оказался таким же бесплодным, как попытка шевельнуть парализованным членом. Поскольку на четвертом этаже его кровать помещалась в другом, северном углу, он бросился к двери и распахнул ее вместо того, чтобы пытаться спастись, что полагал он возможным, через окно, притворенное, но открывшееся хлопком, едва лишь смертельный сквозняк втянул из коридора дым.

Огонь, вскормленный поначалу промасленным тряпьем, подброшенным в подвал, а после ободренный горячей жидкостью, толково разбрызганной там и сям по стенам и лестницам, шибко помчал по отелю, — хотя "по счастью", как выразилась наутро местная газета, "погибли немногие, поскольку заняты оказались лишь несколько комнат".

Теперь клубы пламени лезли по лестнице — по двое, по трое, отряд краснокожих, рука в руке, язык с языком, беседуя и весело напевая. Впрочем не их трепещущий жар, а темный и едкий дым заставили Персона отпрянуть обратно в комнату; прошу простить, сказал вежливый язычок, придерживая дверь, которую он тщетно пытался закрыть. Окно грохнуло с такой силой, что стекла осыпались рубиновым ливнем, и перед тем как насмерть задохнуться, он понял, что буря снаружи помогает пожару внутри. Перед самым концом удушье заставило его попытаться спастись, выбравшись из окна и спустившись, но на этой стороне ревущего дома не было ни балконов, ни выступов. Когда он достиг окна, длинный язык пламени, украшенный лавандовым кончиком, заплясал перед ним, преградив ему путь изысканным жестом гангитированной руки. Раскрошившиеся участки штукатурки и дерева еще позволили человеческим воплям долететь до него, и одним из последних его заблуждений стала мысль, что это крики людей, спешащих к нему на помощь, а не вой таких же несчастных, как он. Разномастные кольца сомкнулись вокруг, кратко напомнив картинку из страшной детской книжки о торжестве овощей, все быстрее и быстрее летящих по кругу, в середине которого мальчик в ночной рубашке отчаянно порывается пробудиться от радужного дурмана приснившейся жизни. Последним его видением, была добела раскаленная книга или коробка, становившаяся совершенно прозрачной и совершенно пустой. Вот это, как я считаю, и есть самое главное: не грубая мука телесной смерти, но ни с чем не сравнимая пронзительность мистического мыслительного маневра, потребного для перехода из одного бытия в другое.

И знаешь, сынок, это дело нехитрое.

1

С лица (фр.).

2

Милая комната на четвертом этаже (фр.).

3

Готовое платье. Наша триумфальная распродажа уцененных товаров (фр.).

4

3 фотографии, 3 позы: oseeés – рискованные (фр.)

5

Омар по-американски (фр.).

6

К издателю: Сэр... (англ.).

7

Шикарное шале (фр.).

8

Окружении (фр.).

9

Частица не идет к последнему слогу моего имени (фр.).

10

Местах (фр.).

11

Распахни свои одежды, Деянира ... на мой костер (фр.).

12

Расскажите мне о ее... (фр.).

13

Совсем фашист (фр.).

14

Ничуть не бывало (фр.).

15

Сам-то (фр.).

16

Мушка (фр.).

17

Рассыльных (фр.).

18

Тогда пойдём в дом (фр.).

19

Подглядывающего поневоле (фр.).

20

Ресторанчике (фр.).

21

Вы, ты (англ.).

22

Ровно в семь (фр.).

23

Псевдоним путешественника (фр.).

24

Вьюга (фр.).

25

Бесцеремонностью (фр.).

26

Я люблю тебя (фр.).

27

Изжелта-синяя берцовая кость (англ.).

28

Вдвоем (фр.).

29

Закусочной (фр.).

30

Здравствуйте (нем.).

31

Изумленные скалы (фр.).

32

Служанка (фр.).

33

Правление Кнуда (англ.). Кнуд – король Англии, Дании и Норвегии.

34

Кнут (англ.).

35

Операция (ит.).

36

Прекрасно (ит.).

37

Печени (ит.).

38

Вы не знаете, мадам (фр.).

39

Отец (фр.).

40

Сын (фр.).

41

Хоровод (фр.).

42

"Помню, помню я дом, где был я рожден" (фр.).

43

Швейцарское красное вино (фр.)

44

Что ж (фр.).

45

Красное жало (фр.).

46

Но (фр.).

47

Подмышки (фр.).

